

# НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО/  
ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
И НАУЧНЫЙ  
ЖУРНАЛ

4

1 9 2 5

---

# СЕЛИВЕРСТОВСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

СРЕТЕНКА, 24 (вход с Селиверстовского пер.) Тел. 4-53-22.

ПРИЕМ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ:

Горлов., ушн., носов. . . . .	с 9-8.	Лечение гингивитом. . . . .	с 10-1; 3-8
Венерич. и мочепоп. . . . .	" 9-8.	Туберкулез легких. . . . .	9-12 и 6-8
Хирургические. . . . .	" 9-8	Внутренние. . . . .	с 9-8.
Женские и акуш. . . . .	" 9-8	Детские. . . . .	" 9-8.
Глазные (подбор очков). . . . .	" 9-8.	Кожные. . . . .	" 9-8.
Желудочные. . . . .	9-10 и 12-2.	Лечение угрей и пятен. . . . .	" 9-8
Болезни сердца. . . . .	с 12-1.	Леч. волос (выпад., перхоть). . . . .	9-8.
Нервн. и душевн. . . . .	" 9-8.	Испр. запад. носа. . . . .	с 10-12 и 5-8

Болезни мочевых путей (мочев. пузырь, лоханок и почек) с 9-11; 4-8

АНАЛИЗЫ: крови, мочи, мокроты и желудочного сока.

**ЗУБОВРАЧЕБ. ОТД.:** лечен. пломбир., удаление, искус. зубы 9-3 ч.; хирургич. полости рта (бол. десен) 2-4 ч.

**РЕНТГЕНОВСКИЙ КАБ.:** снимки, просвечив., лечение бол. кожи с 11-1 ч.

**ЭЛЕКТРОЛЕЧЕБНЫЙ КАБ.:** все виды электролечения, ванны (солян. и углекисл.) с 9-8.

Вызов врачей на дом по всем специальностям.

По воскр. и празд. прием с 10-2 ч. **КОНСУЛЬТАЦИЯ ПРОФЕССОРОВ.**

## ЛЕЧЕБНИЦА Т-ва ВРАЧЕЙ,

6. 0-ва русских врачей, сущ. с 1851 г. Арбат, 25. Тел. 3-70-85.

ПРИЕМ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ:

Внутренние. . . . .	10-8.	Хирургия. . . . .	10-12; 2-7.
Кожно-венер. . . . .	10-12; 5-7.	Женск., акуш. . . . .	10-7.
Ухо, горло, нос. . . . .	3-7.	Нервные. . . . .	10-1; 2-4; 7-8.
Детские. . . . .	11-7.	Зубные и искусств. зубы. . . . .	10-7.
Мочеполовые. . . . .	1-4.	Туберкулез костей и суст. . . . .	4-5.
Глазные. . . . .	11-1; 6-8.	Ортопедия. . . . .	

Рентгеновский и электро-светолечебный кабинет: снимки, просвечивания, лечение. Анализы: крови, мочи, мокроты, желудочного сока и др. По воскрес. прием с 11-3.

ВЫЗОВ ВРАЧЕЙ

## СТАРО - ТРИУМФАЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Садовая, уг. Тверской, д. 2/70, тел. 5-94-40.

ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ КОНСУЛЬТ. ПРОФЕС.

Внутр., детские 10-2; 4-8	Хирургические . . . . .	2-4
Кожн.-в. и мочепоп. . 9-9	Женские и акушер. . . 9-8	
Туберк. горла 10-2; 5-8	Нервные (гипноз) . . 6-8	
Глазные . . . . . 9-10; 4-5 1/2	Туберкулез легких . . 4-6	
Влив. Сальварсана «914»	Зубные . . . . .	9-8

Вызов врачей

**Д-р ШЕНФЕЛЬД.**

Больш. Дмитровка, 12, кв. 3.  
Спец. **НЕРВНЫЕ**  
**и МОЧЕПОЛОВЫЕ**  
10-1 ч. и 4-7.  
по праздникам 10-1

**Д-р ВОЛОДАРСКИЙ.**

Покровка, д. 19, кв. 21. Т. 2-32-45.  
Кожные, венер., сифил.,  
мочеполовые и нервные.  
Прием 9-1 и 4-9.  
Праздн. 12-2.

## БОЛЬШАЯ СЕРПУХОВСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Б. Серпуховск. ул., д. 14.  
Телефон 5-61-15.

ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ.

Внутр. и детские . . . . .	10-8
Хирургия. . . . .	3-5
Женск., акушерство . . . . .	10-8
Кожно-венерические и мочепоп. (влив. 914) . . . . .	9-8

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПРОФЕССОРОВ.

Ухо, нос, горло . . . . .	3-5; 6-8
Глазные . . . . .	4-5 1/2
Нервные (гипноз) . . . . .	5-7
Туберкулез. . . . .	6-8
Зубные (леч. и иск. зубы). . . . .	10-8

Вызов врача  
на дом.

**ЖЕНСКИЙ СТАЦИОНАРИЙ и РОДИЛЬНЫЙ ПРИУТ.**

**ЭЛЕКТРОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ МЕДИЦИНЫ АНАЛИЗЫ (крови, мочи и т. д.).**

**ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ**  
на ежедневную  
**КООПЕРАТ.-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ**  
**„КООПЕРАТИВНЫЙ ПУТЬ“**

Адрес Главной Конторы:  
Москва, Б. Черкасский 17.  
Тел. 1-91-07.

## ЕСЛИ ВАМ НУЖНО

помо- **ОБЪЯВЛЕНИЕ** в провинц.  
стить **ОБЪЯВЛЕНИЕ** прессу,

**звоните по тел. 1-84-41**

Отдел об'явлений «Изв. ЦИК СССР  
и ВЦИК». Москва, Тверская, д. 48.

# НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
И НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

АПРЕЛЬ.

№ 4.

---

## СОДЕРЖАНИЕ:

	Стр.
<b>С. Шилов.</b> —Дебри, рассказ . . . . .	3
<b>А. Макаров.</b> —На рельсах, рассказ . . . . .	26
<b>С. Под'ячев.</b> —Сквозь строй, рассказ . . . . .	59
Стихотворения: <b>Н. Полетаева, Евг. Панфилова и Г. Хвастунова</b> . . . . .	73
<b>Андрэ Марти.</b> —Черноморское восстание (воспоминания) .	77
<b>Х. Р.</b> —Куда мы идем? . . . . .	99
<b>Д. Горбов.</b> —Эренбург и современность . . . . .	109
<b>Акад. П. П. Лазарев.</b> —Курская магнитная аномалия . . .	122
<b>Николай Морозов.</b> —Астрономический переворот в исторической науке . . . . .	133
По Советской земле. <b>Вас. Каменский.</b> —Ярмарка в Насадке.	144
<b>Библиография</b> . . . . .	152

ИЗДАНИЕ „ИЗВЕСТИЙ ЦИК СССР и ВЦИК“

МОСКВА—1925.

Москва, Главлит № 34.112.

25.000 экз.

---

„Мосполиграф“, 16-я типография, Трехпрудный, 9.



# Д е б р и.

С. Шилов.

*Посвящаю Карлу Яновичу Лукс.*

„Когда окровавят серп“...

**В**орон и Данилыч ехали дюжим лугом. Справа и слева громоздились тяжелые горы. Лето умирало. Вода в озерах уже остыла. Желтая трава кручинно никла к земле, а желтые и синие цветы казались покинутыми и жалкими. Комковатые серые тучи толпились на холодеющем небосклоне.

— Да, вот тебе и лето, — задумчиво сказал Данилыч. — Кончилось лето красное... А березки-то вроде плачут... Что же, все умрем... Такое дело... Жисть наша...

Ворон молчал и пристально глядел вперед. Там, в долине, дымилась деревня. Это был Крутой Лог.

Три дня назад японский отряд деревню сжег до-гла, и головни еще курились сизыми струйками дыма.

— Ведь, что наделали пакостники! — не вытерпел Данилыч, когда они в'ехали в бывшую деревню, в которой они недавно делали дневку. — Ох, люди, люди! Что только творится на белом свете... А ведь не все же, поди, звери, не все же, поди, бары и в Японии этой самой? Ведь дома-то у них, у многих, тоже, поди, осталась и хатка, и детки, и земляшка? а?

Дико было сознавать, что это Крутой Лог, — три дня тому назад богатейшая деревня, с цинковыми крышами и молотилками.

Воистину, здесь не было оставлено камня на камне. И если бы не торчащие черные обгорелые трубы, да не маячили из-под пепла и угля печи, трудно было бы узнать, где какая изба стояла раньше. Всюду валялись исковерканные пламенем шины, железные части жнеек и косилок, расплавленные самовары...

— Ай-ай-ай! — крутил головою Данилыч. — Ах, черти, черти! В конце села они наткнулись на древнего старика, который неподвижно стоял над своим пепелищем, и борода его дрожала над посохом. Около него вертелся мухренький, белоголовый мальчик.

— Дедушка, дедушка! Как теперь маманя шить на ей будет? (Он смеялся и возился над сгоревшей машинкой.) Дедушка!.. А это что?.. Гляди-ка, дедка!

Старик молчал и тупо смотрел на пепелище.

Увидев верховых, они испугались. Мальчик прижался к коленке деда.

Ворон, задержав коня, поздоровался.

Старик поднял на него испуганные, подслеповатые глаза, а мальчик, просиял и зашептал ему:

— Дедушка, это—наши!.. Я узнал: это—дядя Ворон... Свои, дедушка!

Данилыч слез со своего пеганого, подошел к старику и протянул ему руку.

— Драстуш, Мирон Саватеич! Домой пришел? Так, так...

Старик заморгал на него глазами.

— Не узнаешь?

— Федор, кажись?

— Он самый!.. Такие-то, значит, дела, дедушка Мирон... Да-а...

А Вася уже показывал Ворону:

— Вот тута тятенька с маманей спали на кровати. А вот тута—я да Верунька, да Лизка—на полу... Вот тута зеркало с картинками. Вот тута—божница... А бабка все на печке... Хворая.

— Где же теперь ваши?

— А на займке, в лесу. А мы с дедушкой приехали на телеге... Вон она стоит, телега-то!

Под берегом, спрятанная в кустах, стояла лошадь в упряжке.

— Только бабушки у нас сейчас нету,—вздыхнул Вася.

— Где же она?

— А мы не успели „тогда“ уволокчи ее с печки...

— Где же сейчас твоя бабушка?—спросил Ворон.

— А тута,—показал мальчик тоненькою ручкой на пепел около печки.

— Тута она! Мы с дедой хотели собрать ее, мотнул он подбородком на мешок, валявшийся у ног старика:—А вот ее... нету!—у мальчика задрожало личико.

Ворон сурово, молча, прищпорил своего жеребца.

С севера шла черная туча, дул резкий ветер, он звенел и чесал ковыли и чертополохи. Впереди раскинулась широкая унылая степь.

Под'ехали к броду.

— Вот в этой самой речке, Иван Семенович, Завитушке, где она, значит, к нашей Марковке заходит, лонись я целый день высидел. Милиция нагрянула! А в голове—сам Потапов, начальник уездный (слыхал, поди, про его? Зверюга был человек! Прямо—чорт!..). Растерзали его потом... Наш один ловкач подсыпался к ему в городе хахарем, переодевши, ну, очки

разные втер, напоил, значит, винищем, до-мертва, да еще с сонным, а потом—в кошеву, да из городу... А тут уж, по сговору наши поджидали...

Ворон слышал про эту расправу над уездным начальником и слушал лениво.

А сивый Данилыч словоохотливо рассказывал:—Пьяный он был, как чушка! Утром проснулся, орет: „Ванька, сучья отравя! Подавай графин (думал, дома)!“... А ну его к лешему! Чо тут рассказывать? Известно, когда народ остервенится... Так вот эта самая милиция к нам и наехала... Здрастуйте!.. Я, конечно, в речку (подперло тогда шибко) и сидел там по горло в камышах, и голову укрыл листьями, только борода одна плавала. Сижу и смотрю, как они урудуют. Деревня-то в тот раз цела осталась. Лошаденок только угнали. Ну, коровенок там, да которых баб и девок попортили. В тот раз еще Дуняшка Апрельковска в колодец бросилась... Бравенька така была девчушка... Грамотейка...

— Народ, Иван Семенович, когда из себя выдет, и-и-и... Не дай ты бог! Что там зверь? Куда там к чорту зверю!.. Про Кузьку Мохнатого слышал, из Вениковой деревни? Ну, вот, что белым еще передался, да на свою же деревню карателей навел? Так, вот, этот самый Кузька в плен к нам оборвался! Здорово тогда мы растрепали беляков. Больше пятисот туш одних набили (считали потом нарошно). Ну, и японцы тоже с ими были... Ладно... Время зимнее... Река как раз, пролубь... Вот я теперечи, Иван Семеныч, боюсь с тех пор воды, наипаче пролубь! Смотреть даже не могу... Хорошо!.. Ну, командер и велел пленных всех в пролубь (горячка был Ракита-то!—потому, дескать, как за день до этого они много наших под лед затурили)... Ну, понятно... А япошки два тоже попались, так те что? „Ваша, говорит, моя нету бери, моя сама туда ходи!“ И друг за дружкой, слышь, руки подымут над ушами, что-то по своему полепечут, да сразбегу бултых головой в пролубь... Только вода забулькает... Ну, понятно, дошла очередь и до Кузьки. Раскачали и махнули Юду... А тут рев поднялся: „Белы под лесом!.. Белы окружают“. Тогда наши, понятно, на коней и к своим (отряд-то уж порядочно отошел на Груздевку). Хорошо! А отряд-то этот наш оказался. На подмогу его требовал Ракита; думал, что не одолеть одним-то. Ну, он, понятно, припарился к другим и пошел вместе на Груздевку... Теперь Кузька! Он попал не башкой в пролубь-то, а ногами. Речка же была маломозна, да с зажором еще впереди, спирало,—ну, он ногами-то и уперся в японцев,—не больше, как до подпазухов вода. А потом видит, что наши—тягу за поворотом, стал карабкаться наверх, да и вылез... Теперь, кого делать? Зима, нагишом почти,—одно нижее, да чарчйшки на ногах. А деревня тут и есть, на яру! Он—туда, да в первой же избе и забрался на печку (деревня-то пуста была: народ еще с вечера разбе-

жался по лесам да по зайкам,—кто куда, потому как не узнано еще было, чья возьмет: наша аль белых). Хорошо! Ну, жителя видят потом, что одолели мы супостатов (помогали, слышь, многие,—кто с топором, кто, значит, с вилами. Бабенки даже две помогали воевать,—с урудиями,—Матрена Соломина сестрой еще потом с отрядом ездила, да Верунька Герасимовска). Ну, видят жителя такое приятное дело—домой. И Парфил Курочкин приехал (это к нему он затесался, Кузька-то). Перекреп весь Парфильша! Даже супонь не мог развязать, так нераспряженных и бросил конишек во дворе. Баба воеет, Ульяновна-то: на сносях была. Детишки ревут: поознобились в лесу. Ну, понятно, печку-железку первым долгом... Отогрелся Парфил. Распрягли они с работником конишек, чаевать сели. Вдруг, слышат,—на печке кто-то... ворочается! Что за... Сунулся Парфил туда, а там—Кузька Мохнатый!.. Наше вам!.. Ну, Парфил-то и сдурел! А Кузька уж еле глазами водит,—почесть в беспамятстве. Говорит все же, тихо так, гробно: „Не губи, Парфил... Сва-ат!.. Тяжко мне“... А Парфил ему: „Сукин ты сын, а не сват! Серый волк тебе сват, Юда ты, хриstopродавец!.. А ежели ты, пес, шишнадцать наших душ загубил, так это ничо? А нам, такой-сякой (матершинник ведь Парфил-то на всю деревню!), а нам, говорит, люленьки было, когда всю деревню, гамазом, всех мужиков и баб шомполами пороли да на дыбы из-за тебя, собаки идольской, подтягивали?!“ А потом заревел на работника: „Караул, Петра! А я шичас обчеству обследую!.. Побезит ежели, змей,—бей прямо в лоб, курва его мать!“ Ну, обчество, понятно, зашумело, и—валом к Курочкину.

— Откудова, злодей, заявился? Отвечай обязательно!

— Из пролуби, православные...

Больше ничего и сказать не мог Кузька, ослабел.

— А-а-а, из пролуби!—заревел народ.—Выполз, значит, гад? Ну, так топерь, пес проклятый, не вылезешь!..

Злющи-то все как были! Уж нашто Роман Тихоныч—муху бывало сроду не обидит, титорем ходил больше, летом—в катанках; псалмы все тянул да просвирки старухам подносил,—а и тот, слышь, вот с такущими глазищами ходит! Ударил даже, ей-бог, со слезами, два раз Кузьку-то (у его, ведь, двоих тот раз кóкнули, у Романа-то).

— В пролубь его, Юду-хриstopродавца!—ревет народ.—Утопить его, сатану! На куски изрезать!

Все кричат, матерятся, плюют... Не дай ты боже. И поволокли (Кузька-то уж не мог идти). Подхватили под руки и потарабанили. Так голым задом и везли, сначала по снегу, после по льду... А ветрище!.. Ну, ясно дело... Народ, когда разозлится... Когда мужику окровенят серп да пашню... О-о-о!

Я вот расскажу тебе, какое еще страшнейшее дело было... Казаки лютовали...



Смеркалось. Жутко темнела перед ними тайга, и из недр ее рокотал необъятный гул. Луны еще не было, и звезды ярко горели в вышине, выглядывая на хребтах сквозь щетину деревьев. Темно было настолько, что Ворон с трудом различал ехавшего впереди товарища. Тропинка на стан вела узенькая, „в одного коня“.

— Не заблудимся, часом?—сквозь зубы спросил Ворон. Он не смотрел на Данилыча, был суров и замкнут.

— Не-е!—горячо отозвался Данилыч,—я, товарищ Ворон, эти места чуть не на брюхе все исползал, когда еще раньше зверовиччал! Мне, слышь, хоть глаза завяжи, так и то доеду. А, опричь всего, Иван Семеныч,—конь. Ежели, скажем, ты скружил,—пуская поводья: он, милый, вывезет... только бы ему раз пройти где, два... Я тебе, Иван Семеныч, расскажу вот какую штуку... Зверовал я снова...

Но Ворон не слушал. Он внимательно смотрел вперед и думал.

— На Василия Блаженного дело было... Хорошо... Спят это они, а собака, Кувылдай,—хороший кобель был, Кувылдайка-то,—как бросится, да как...

— Далеко еще? Как ты думаешь, старичишка?

— Да подходяще еще, годяво... Ну-ну! Што ты, восподь-то с тобой! Дурашка!—Данилыч натянул поводья пеганому. Слева послышался удалявшийся треск чащи.—Михайло? Да нет, у того гуще и тише. Козишка, наверно, набежала. Ишь, летит как! Вон уж где порет!.. Легкий зверь, умыльный...

Ветер упал. Стояла мертвая тишь. Слышалось только осторожное похрапывание лошадей, да хруст веток под их копытами. В такую тишину хорошо думать об иной жизни.

— Здесь прыгать придется, Иван Семеныч,—тихо сказал Данилыч.—Кони—они знают...

Через две минуты жеребец остановился, подобрался и перемахнул через глубокую колдобину, размытую последним ливнем.

— Ну, теперь уже близко,—повеселел Данилыч.

Тьма стала еще гуще. Тропинки видеть нельзя было совершенно, и они отдались на волю бывалых лошадей.

— Стой!.. Кто едет?—раздалось над самым ухом.

Ворон, вздрогнув, схватился за наган, а Данилыч обрадованно закричал:

— Свой! Ворон да я!.. Это ты, Артюха?

— Мы тут в дальнем карауле...

Вскоре на повороте блеснули сквозь деревья костры. Оттуда неслись смех, песни и звуки надсаженной гармошки.

— Ну, слава богу,—вздыхнул Данилыч.—Приехали... Ох, жрать хочу, — страсть!

## Н а с т а н е.

Вооружившись берестяными ложками, сидели они за черным котелком у среднего костра, и Данилыч, давясь и обжигаясь, бормотал:

— А скусный происходит бульвонт из и-го-го! (Хороший же ребчик был, царство небесное!) Так сам и прет в хайло! Только вот вчерась брюхо у меня чо-то ломило. Подкова, надо быть, разгибалась, а?..

Ворон поспешил в канцелярию, а Данилыч, поболтав с облепившими его партизанами, свалился на спину тут же у костра и, запалив свою знаменитую „щетковую“ трубку, стал пускать на звезды клубы вонючего дыма.

— Морит, ребята, чо-то. Да и растресся подходяще. Эхо-хо-о, стареть, должно быть, стал... а?

Военно-полевой совет областной революционной красной армии стоял сейчас на возвышенной поляне. Густой лес, точно пали, окружал его со всех сторон. Кроме того, горная речка, топкая в этом месте, дугой замыкала его с трех сторон.

В центре становища помещался совет, со своею „берестяною канцелярией“,—большой шалаш, крытый берестой, с красным флагом над входом.

Внутренность канцелярии была сейчас завалена всевозможными „трофеями“: здесь валялись седла без подпруг, телеграфная проволока, фонопоры, снятые с разгромленных железнодорожных станций, мешки со шрифтом, веревки, разряженные бомбы, шашки без черенков, портреты Николая II и Ивана Кронштадтского, кадила и самогонный аппарат.

Кругом кучей тоже берестяные шалаши, и в каждом из них полусотня партизан,—охрана и связь совета. Члены совета все были в командировках и только завтра должны были с'ехаться, так как предстоял ряд решительных операций: Ворон мечтал о всеобщем восстании.

Было еще рано, и шалаши шумели.

Партизаны терлись около костров. Кто курил, кто возился с седлом или винтовкой. Любители пекли в золе картошку, поджаривали грибы. Но большинство грудилось возле краснобая Антипы, который восседал на обручке дерева и, по обыкновению, „наворачивал“.

Сейчас он, кривой, косматый, повествовал „о святой жизни преподобного отца нашего, святителя Мамаея-великомученика“.

Сам он был серьезен и даже строг, но слушатели, несмотря на его торжественный тон и кресты, покатывались со смеху.

— Ну, и Антипа, язве его! Откуда он что берет, дьявол?

— Вот умрет, кривой Камбал, горя хватит! Чорту за хвост языком поганым прикрутят!

— Вот бесстыжий человек! Даже деву пречистую!.. Тьфу ты, пакостник!

— Ты думаешь, на небесах-то... Вот слушай дальше!.. Мне один покойник рассказывал, когда за самогонкой как-то спу- скался...

Около крайнего костра сидело и лежало десятка два партизан. Оттуда неслись отчаянные всхлипывания гармошки, ди- кое гиканье и топот. Здесь царил Сережка Козырь,—хват и сердцеед, который ежедневно умывался и даже... имел гребешок!

Сейчас он, изогнувшись выдрой над осипшей от усердия гармошкой, дергая плечами, гнал во все меха плясовую, а Сохатый, чудовищного роста детина, обхватив огромную голову волосатыми ручищами, прыгал перед ярким костром, как страш- ное привиденье.

Вокруг подпевали, подсвистывали и шлепали в ладоши.

— А ну, Гошка, не подгадь!.. И-ех, Матаюшка горная, да рыжая, задорная!

— Валяй на все шестнадцать собачьих жил!.. Уых!.. Шире ноги, дай дороги!..

— Жарь за Моисея и Микулая-угодника!.. Так!.. Так!.. Ай да Гошка!..

— Э, чего там... Смали, браток, разом за двенадцать апо- столов!

Маленький, сухопарый Гошка, взяв руки в боки, петуш- ком ходил перед косматым великаном, вывертывался, присе- дал, и, нагнувшись, бил в такт замороженной гармошки ма- ленькими ладошками по густо смазанному дегтем голенищам.

— Сохатый! Месяц, чорт, не зацепи своим хоботом! Ей- бог, братва, без свету останемся!

Сохатый закидывал ноги в невероятнейших сапожищах выше носа и ревел, как бык на бойне. Прыгнул через костер и бревном повалился на стоптанную траву.

— Ну, Гошка, твоя взяла!—сказал он, запыхавшись:—Корюсь, корюсь, братишка!.. Не могу больше... Корюсь!..

Гошка ликовал. Счастливо сверкал на партизан глазенками и тоненькою дрожащей рукой вытирал катившийся с лица пот...

Козырь вдруг перестал играть, и тогда слышно стало песню, которая неслась с другого конца стана.

„Ревела буря, дождь шумел,  
Во мраке молнии сверкали\*...“

Сделалось совсем тихо. Партизаны сидели у костра хмурые.

— Эх, братва, братва!—вздыхнул Сохатый. Он не мог ото- рвать глаз от костра. Вот душим мы, черти безрогие, ломимся, а может, завтра же аль послезавтра уж будем лежать где-ни- будь в кочках без головшук. Нет ли махры у кого, товарищи?

Он выразительно щелкнул себя по жилистой шее.

— Этого бы сейчас, отцы преподобные... после трудов-то праведных...

А из зеленой чащи лилась уже другая песня. В ней говорилось про какой-то ненастный день, когда нельзя в поле работать... ни боронить... ни пахать...

И души вооруженных пахарей, заменивших серп винтовкой, на крыльях этой заунывной песни полетели на неубранные поля, на несокошенные родные луга,—на страду и покосы, с которых согнали их другие, приплывшие из-за океана, пахарь. Перед глазами вставали скорбные образы домашних, над которыми измывается сейчас злобный и бездушный враг.

Тайга черною, косматою ратью окружила долину и жила своею жизнью. Сейчас она чуть слышно, но ровно и тягостно, шумела. Вскрикивали испуганно птицы, хлобыща в тишине крыльями. И по небу плыла бледная, усталая луна.

— На поверку!—прорезал нагустившуюся тишину громкий голос дежурного.

Партизаны стали в две шеренги, а горластый дежурный выкрикивал фамилии по списку:

— Лаптев, Голодаев, Лучинушкин...

— Есть!

— Дзян-Ли-Фу?

— Моя!

На поверке восставшей красной тайги—все! На поверке всероссийской пролетарской—все.

— Пой молитву!

И новая молитва прозревшего мужика метнулась ввысь, упав на толпы обступившего со всех сторон леса:

„Вставай, проклятем заклеянный,  
Весь мир голодных и рабов!“..

Тайга неумело, но бурно, подхватила и тревожным эхом раскидала его по своим гулким недрам, по необъятным зеленым просторам.

„Это есть наш последний и решительный бой!“..

— могучим басом бороздил Сохатый. Громко пел и безбожно фальшивил старый Антипа.

С возбужденным бледным лицом пел, вечно мрачный, нелюдิมый Дзян-Ли-Фу. Маленький ушастый Гошка, стоя рядом с Вороном, звонко вплетал в торжественный гимн свой хрупкий, детский голосок:

„Мы наш, мы новый мир построим“..

Когда смолкли человеческие голоса, тайга долго еще дыбила мощные, крылатые звуки в глубине опустившегося неба. Гудела ярым призывом. Аукала за звонкою, косматою сопкой.

— По шалаша-ам!.. Караулы—на смену!

Круглая, бледная луна показала из-за высокой горы и, поднявшись выше, предусмотрительно смотала длинные тени. Легкий ветер, хйус, быстро побежал по верхушкам, точно



в шопоте листья передавая тайге свои лесные пароли на предстоящую глухую ночь.

Тайга насторожилась, и каждый звук—писк крохотного зверька, треск тоненькой веточки, плеск журчавшей под курганом речки,—стал четко слышен в дремоте ночи...

— Сохатый, — позвал дежурный, — в канцелярию! Ворон требует.

Сохатый стал у входа. Ворон подал великану весь залитый сургучом небольшой конверт.

— Тайгой... через подставы... Да, да!.. Отряд Деда и другие... Пуще глаза!.. Бумага исключительной важности... Отвечаешь головой!.. Выедешь на рассвете... Понял?

— Есть!—гукнул Сохатый, польщенный поручением.—Есть такое дело, дядя Ворон!..

Ворону не спалось. Он ворочался с боку на бок и закурил уже третью папиросу.

Два года уже нет „оттуда“ никаких вестей... Изредка доходят страшные слухи... Только слухи... Если бы увидеть, если бы узнать... Леночка уже лег в постельку, но не спит. „Она“ сидит у его кровати и тихо рассказывает про папу. Она в сотый раз говорит ему, что скоро кончится противная война, папа сразу же придет домой, и им будет хорошо.

У Леночки опять каждый день будет молоко, булка и конфеты. Папа купит ему новенькие сапожки, а страшные дяди в погонах перестанут к ним ходить и пугать револьверами.

„А если... а, может быть, их уже нет? Может быть, она—где-нибудь вблизи тюремных палей... Или в глом бурьяне за околицей моют дожди ее белые, обглоданные собаками, кости... А, может быть, на дне реки рыбы и раки путаются в ее косах“...

Ворон стискивает зубы и зарывает голову в траву...

Порой ему кажется, что ее совсем не было: так просто... сон какой-то... мираж... или он читал о ней в детстве...

Но вот „она“ властно вставала перед ним, как живая,—и он уносился душой далеко вглубь отмершего времени.

...Первый раз он увидел ее в тюрьме. На другой день после ареста он стоял у окна своей одиночки и грустно смотрел на тюремный двор, по которому гуляли арестантки. Молоденькая девушка в коротком, коричневом платьице, повидимому, гимназистка, кивнула ему головой и светло, доверчиво улыбнулась.

С той поры, уже в другой камере, он ни разу не видел ее, вплоть до того момента, когда их посадили в вагон... Давно это было...

...Ночь застала их на молу. Невыразимая швейцарская ночь!

Огромное озеро сверкающим голубым зеркалом лежало по обе стороны глубоко врезавшегося мола. Тихо плескалось, навевало дрему.

Мимо пробежали красивые маленькие пароходики. Качались легонькие, раскрашенные лодочки. Слышался беззаботный смех, доносились звуки гитары, а с ближайшей лодочки сползала и стлалась по бирюзовой воде песня. Чей-то красивый женский голос пел по-французски:

„Ах, Альфред мой дорогой,  
Бросил ты Прованс родной“...

Блестели огни города и набережной. Гремел оркестр в ближайшем парке. Шумели дальние трамваи. Перезванивали башни.

— Если ты, чубук, еще хоть раз закуришь на посту,— вполголоса внушал кому-то дежурный,— вот тебе слово, Мишка,— угодишь к „трем соснам“!.. Не знаешь, что ль, дурак, Ворона?.. Рыло!..

Кто-то оправдывался и в чем-то клялся.

— А то плетей, идиот, схватишь...

Тайга тихо и проникновенно шумела. Иногда она насто-раживалась, заговаривая смутно и тревожно. Но вскоре успокаивалась и снова плескала, плескала тупыми, монотонными, баюкающими плесками.

...Южный склон Салёва. Первозданная тишина. Вдали блещет Монблан. Седой. Великий. Тучи служат ему, как рабыни. Соседние великаны-горы стоят перед ним без шапок.

...Тишина подавляла. И это не была тишина заброшенного кладбища или предутреннего города. И не тишина заснувших холмов и стелей. Это не тишина заштилевшего моря или сожженной тайги,—нет! Ей нет названий и сравнения.

Монблан сиял. Они стояли, подавленные, грустные, счастливые.

...Они заблудились в горах на обратном пути. Под вечер вышли на какую-то ферму. Солнце уже закатилось.

Швейцарец-хозяин предложил им дожидаться утра у него.

Места хватит. У него есть свободная прекрасная комната. Было бы безумием, если бы мусью и мадмуазель пошли сейчас дальше. Пусть будет известно уважаемым путешественникам, что по этой дороге,—где на каждом шагу либо грот, либо пропасть,—и днем не каждый решится пойти. Он надеется на благоразумие молодых людей, а его священный долг—предупредить юных путешественников. Кроме того, у него достаточно сливок и сыру. Есть виноград и вишни. Есть великолепное вино, если мусью и мадмуазель захотят подкрепить силы с утомительной дороги. Стоит же это суший пустяк, о котором не следует и говорить...

— Бон нюи, мадмуазель! Бон нюи, мусью!..

... Серебряная ночь. Отдаленный шум водопада. Щелканье соловьев. Дурманящий, острый аромат роз и сирени, которые лезут в оббитое плющем итальянское окно...

Призраки прошлого пошли назад, мешались, таяли. Наконец, исчезли совсем. Только на мгновение мелькнула перед ним веселая французская деревушка. Дети в белых платьицах, взявшись за руки, танцевали на станционной площадке под каштанами и что-то пели.

Он помнит только припев:

„Бель анфан!.. Бель анфан!“..

Но вечерний поезд на Россию двинулся дальше, и ночь проглотила деревушку. Ворон заснул. Молитвенно пели над ушами комары. Было тихо.

Тайга устало спала...

— Казаки!—вдруг больно разорвал кованую тишину дикий возглас.—Казаки!

— В ружье!—в ту же минуту взревел Ворон, спружинив с постели.—Становись!

Через мгновение привыкшие ко всему партизаны стояли уже на местах и, щелкая затворами, трепетно ожидали команды.

Тишина замкнулась снова, зловещая и тягостная. Только слышно было шумное, спертое дыхание взбудораженных людей, да тяжело и больно колотились сердца.

— Какой дурак крикнул „казаки“?!—с страшной бранью бурей налетел запыхавшийся, взбешенный дежурный, проверявший дальние караулы.—Какой идиот, сукин сын, сволочь, собака, поднял тревогу?!.. Товарищ Ворон, в лагере все благополучно!—отрапортовал он, разглядев Ворона.—Ложная тревога... провокатора я сейчас выволоку!

— Да это вон Турка все, идол безрогий,—добродушно ткнул волосатым кулачком Сохатый в бок недоуменно вертевшегося соседа. — Над самым ухом заорал опять, чорт косо-пузый!

— Дык... дык... дык, это ж я со сна!—кое-как поняв, в чем дело, черным клубком выкатился из рядов к Ворону кругленький, низкорослый партизан.—Со сна ж, товарищ Ворон! Потому, как наглядемши...

— Ах, Туркин, Туркин,—вздыхнул Ворон.—Уж и не знаю, что с тобою делать? Хороший ты партизан, да вот видишь, каких коньков выбрасываешь? А?

-- Со сна, товарищ Ворон... аль нарочно? Помстилось, потому как...

— Ну, ладно... расходитесь!.. Ах, Туркин, Туркин, горюшко с тобой!

Товарищ Ворон, я придумал для его средство,—деловито заявил Антипа, успев уже положить за губу „леме-шину“.

— Давать это ему каждый вечер, перед сном, по двадцать пять березовых капель,—как рукой сымет! Все „казаки“ из башки к тетке Улите уедут!

— Сдурел никак, Антипа! Ведь больно будет человеку,— пожалел кто-то злосчастного Турку.—Надо же, друзья, и человечество иметь. По-моему, так лучше всего подвешивать его на ночь за шею на „дерево совета“: и ему приятно, и кричать не будет, и один пост снять можно, потому как такой чучел может напугать целый корпус! А окромя того, и родителям приятно: повышенье, дескать, ненаглядному косопузому сыну!

— Го-го-го,—гоготали партизаны, расползаясь по шалашам, счастливые исходом тревоги.

— Дык, я ж, значит,—оправдывался Турка, которого теребили со всех сторон.—Как наглядемши...

### Н е р о в е н ч а с .

Провалившись на версту в тайгу и подтянув подруги Рыжка, Сохатый огляделся.

Тоскливое шевельнулось чувство. Заскребло, занямо на сердце: а вдруг,—неровен час, —а вдруг он собьется с тропинки? Скружит?

„Тогда что, многоуважаемый Артем Иваныч? Эге! Пропали вы тогда, господин Сохатый, как муха. Заблудившись в тайге, можно ехать и неделю, и две, и не встретить ни одного человека. Пропали вы тогда, ваше почтенье, Артем Иваныч, с концом! Поминай, как звали“...

— Ну, Рыжка, давай, дружище, глядеть в оба: не подгадить бы нам, конишка? Знаешь, что вечером сказал Вороняга? То-то же, смотри, братище!

После остановки тропинка раскапризничалась: то бросится направо и положит поперек гнилое дерево, то, круто повернув влево, заставит прыгать через яму, а то убежит назад и наделает петель вокруг трясины. Или заведет в такое место, где пригибает голову не только Сохатый, но и Рыжка. Нахлещет обоих ветками, наколет сучьями и вновь побежит сказочной полянкой, набросав невиданных цветов, насыпав на пути брусники и голубицы. И, вдруг, через какие-нибудь двадцать сажен, неожиданно занесет над головами крупнейшую скалу, при взгляде на которую поднывает сердце и валится шапка...

Давненько уже едет Сохатый. Зорко разглядывает местность. Рыжий прядет ушами и опасливо косится по сторонам: на сырой, глинистой тропинке—свежий помет медведя.

„Неровен час“,—думает Сохатый; быстро щупает оружие и крепче прижимает к седлу колени.

Солнце уже низко повисло над тайгой. Белки во множестве путаются в ветвях. Косачи то и дело срываются с деревьев.

С запада надвигается черная туча, и ветер забуранил зверху. Заныли тоскливо сосны, застонали ели,—тайга запела свою дикую песню.



Застреляли молнии и загромыхало небо. Стал накрапывать дождь.

Сохатый заторопил коня, чтобы добраться скорей до первой подставы, которая была уже недалеко.

Недалеко, на повороте, он увидел верхового.

— Стой! Кто едет?

Сохатый сорвал с плеча винтовку.

— Пароль!.. Стой!

Незнакомец, круто повернув коня, быстро погнал обратно.

— А-а-а,—зарычал Сохатый и рванул жеребца.—А-а-а, ггад! Вскинув винтовку, он выстрелил вдогонку.

Хлестал сильный дождь. Рвался гром. Вились в клубящихся тучах молнии. Сохатый уже ничего не замечал и гнал коня вслед неизвестному.

На секунду среди деревьев он увидел опять всадника и кинулся ему наперерез, но, ударившись на всем скаку лбом о толстый сук, колодой повалился на землю.

Тайга безумствовала. Трещали и валялись старые деревья. Березки сгибались до самой земли. Гром, казалось, раскалывал и небо, и землю.

Сохатый, мокрый до нитки, поехал обратно, на тропинку. Через полчаса остановился в недоумении: тропинки не было.

— Что за диковина?—пробормотал он, слезая с лошади,— тут должна быть... Вот так штука!

Наклонив лицо к земле, он повел коня в поводу. Долго шел так, запынаясь о валежник, проваливаясь во мху, оступаясь в наполненные водой ямы. Ветки больно хлестали его по лицу.

Повернув направо, на полянку, обрадовался:

— Вот она где, милая! Ух, напужала, шельмочка... Тпрр, дурашка! Чего ты? Потрухиваешь? Ничего, Рыжик, скоро доедем. Теперь уж, брат, близко...

Сохатый сел на коня и поехал дальше. Болела зашибленная голова, трещало в ушах. Молнии слепили глаза.

Отъехав сотню шагов, он остановился, пораженный: тропинка неожиданно оборвалась, нырнув в какую-то речку.

Покрытые сажеными камышами берега были настолько круты и топки, что немислимо было ехать дальше.

Речка сердито бурлила и пенилась.

Внезапно перед самыми глазами сверкнула молния, бешено брякнул гром, и толстая сосна рядом чортовым факелом метнулась в густую ночь...

Жеребец взмыл на дыбы, Сохатый, оглушенный и перепуганный, потянул за собой лошадь подальше от проклятого берега. Но когда он через час остановился, мороз ободрал кожу: перед ним бурлила та же речка... Он стоял на том же месте...

Жуткие мысли зашевелились в голове:

„Нечистый водит!“

Сохатый торопливо потащил храпящего коня обратно.

— Свят, свят, свят!..

Глаза слипались от усталости. Кое-как, подведя коня к пню, он взобрался на седло. Ехал шагом, отводя ветви руками. Неожиданно конь споткнулся, упал на колени,—и Сохатый нырнул через его голову в какую-то яму... Ужасный в ночи крик раздался оттуда.

— Кто здесь!?—дико заревел Сохатый. Около него дрожало мокрое существо.—Кто тут?!

— Это... я!.. я... который...—чуть слышно, не то говорил, не то лаял кто-то в черной, пустой тьме.

— Кто ты!?—стучал зубами Сохатый.

— Я... который!.. которого ты!..

— Человек?—обрадовался Сохатый.—Ты!.. ты как сюда попал?.. Беляк?

— Про... провалился! Как... потому... Охотница ловушка!.. Тяжело дыша, Сохатый собирался с мыслями.

Яма была глубокая. Они стояли по колено в воде. Вверху, сквозь дыру, виднелся клочек звездного неба.

Рыжий, запутавшись в поводьях, громко ржал возле самой ямы.

Невдалеке ему отзывалась другая лошадь.

Было уже далеко за полночь.

Сохатый тер лоб и не знал, что делать. Попробовал вылезть, руки доставали на два аршина.

— Вот так арбуз!

— Нет, не вылезти,—слабым голосом отозвался белый.— Я всяко пробовал. Нет, тут нам и кончина...

— Не ври-и, дура!—встрепенулся Сохатый. — Вот, подожди, утро скоро... Что-нибудь придумаем... Закаркала ворона!

— Дай-то бог!

— „Бог, бог“,—передразнил Сохатый, придя в себя окончательно.—Бога, идиот, нашел! Смотреть надо было глазами, а не... ты... А эту штучку гони сюда!—сказал он, коснувшись кобуры на боку белого... И винт тебе, любезный, ни к чему!— Ты, я говорю, откуда? Как фамиль?

— Я—Савка Голяшкин... Коршуновской станицы...

— Коршуновский? Ты пошто же, падла, с офицерней-то счүшилсЯ?..—Больше ничего нет? Ладно!.. И тебе не стыдно, совесть, что супротив своих, трудящих, воорудилсЯ!

— Потому как билизовали,—лепетал Савка, оправдываясь.—И как, то-исть, семействó, ежели... аль к вам... Как пожигают они все!.. На пепел, как есть, в случае... С корнем, дьяволá, унистожают!

— А почему мы воюем? Не боимся же?

Светало. По небу пролетели от востока розовые стрелы. Враги уже могли рассмотреть друг друга.

— Ах, ты, гнида!—с презрением сказал Сохатый.—Сопля на ножках, а туда же лезет! Да я тебя плевком сворочу, буде харкну старательно! Ну, а ежели этой вот крынкой двину?—поднес он к носу Савки здоровенный кулачище.—Понюхай, чем пахнет? Дикалоном? Побрызгать, може?.. У-у... мразь!

Савка стоял синий и со страхом смотрел на великана.

— Не по своей, то-исть, вине,—выдал он откуда-то из заваленного нутра, сдавленным голосом.—Сам рад бы, не знай куды, от их... Думаешь—большая радость... Да штоб они сдохли, проклятые!

— Так ты... гм... постой!.. Таким случаем, вот что, Савка,—над чем-то туго раздумывая, сказал Сохатый...—Таким случаем, переходи к нам, едрена бабушка? А? И целый будешь, и винт отдам, и на совести, главное, полегчает... Верно, переходи, Голяшкин!—хлопнул он по плечу Савку.—Переходишь?

— А как же семейство? Убьют ведь... милиция аль японцы...

— А кто узнает, что ты перешел?.. Да мы же воюем! Вон как чешем твою милицию и япошек! Нашел кого бояться, курносый!

— А ваши меня... устукуют...

— Добровольца-то? Вот осел! Да не может этого быть. „Устукуют!“ Баба!..

— Только, ежели по-божески... Я бы даже с радостью... потому как...

— Тьфу!.. Раз Артемка Сохатый говорит, то как в аптеке! Душой кривить перед тобой, обормотом, буду? Дура!

— Только все это ни к чему теперь,—тоскливо вздохнул Савка.

Сохатый недоуменно выкатил на него буркалы.

— Не вылезем... тут обоим—крышка...

— Да погоди, ты, кикимора, умирать раньше смерти!—рассердился Сохатый, замахав руками, как лопатами.—Пусть маненько хоть яму-то осветит...

— Да и договориться же нужно допреж. Ду-ура!..

— Нет, не вылезем,—убежденно возразил Савка, взглянув наверх.

— Я три часа бился. Где уж... Всяко перепробовал... Не иначе, старательский шурф, али...

— А ну-ка, прижмись к стене!

Сохатый вытянул руки кверху, присел на корточки и прыгнул вверх, но полетел обратно, окатив Савку водой. Попробовал прыгнуть еще раз, но сапоги, как гири, тянули его книзу, и руки шлепались о мокрую, липкую стену, далеко не доставая до верху.

— Нет, напрасно,—закрыв глаза Савка.—Я пробовал...

— Чтоб те черти в хайло!—Сохатый скинул сапоги и швырнул из ямы.

Долго еще прыгал без всякого толку. Сердясь все больше и больше, повыбросал из ямы все оружие,—свое и Савкино.

— Вот, чорт!.. А ну, поддержи меня за ногу! Я, может, вылезу, а потом тебя, таракана, выташу...

Сохатый согнул ногу в коленке, а Савка взялся за нее обеими руками.

— Держи!—крикнул Сохатый, уцепившись за стенку.— Подымай! Подымай! Сильней, сильней, язва!..

Продержавшись с минуту, он сорвался вниз, подмяв под себя Савку.

— Ах, ты, идол вислогубый! Удержать не может, а еще воевать...

— Тьфу, чорт дупоглазый!

— Так что чижолый шибко,—бурчал Савка, отирая плывшую с лица грязь.—Никак пудов на шесть... Я и то... Чижолый шибко!..

Сохатый подумал и зыркнул глазами на Савку.

— Ставай, дьявол, вот сюда. Лезь, я тебя выпихаю, а потом подашь мне жердь, либо что... Не сидеть же нам тут всю жизнь, на самом деле?

Великан схватил Савку, как щенка, и поднял над головой.

— Пропал бы ты, ей-богу, тут, Савка, без меня,—смеялся он, пока тот карабкался наверх. Никогда бы тебе не выбраться из этой ловушки! Так бы и сидел тут, едрена бабушка, как мышь в лохани, до второго пришествия... Ну, ну!.. хватайся! хватайся!.. Во-от!.. Живем, дура белоглазая!.. „Не вылезем“... Чубук!..

Уже взошло солнце. Лес сверкал алмазами после вчерашней грозы. Горели ярко промытые небеса. Радовалась пела, свистела и жужжала тайга, а недавние ужасы казались сном.

Выбравшись из ямы, Савка огляделся. Конь его, как и Рыжий, запутавшись, стоял недалеко, жадно хватая траву, и листья с ближайших кустов. Около самой ямы, под деревом, лежала сумочка Сохатого.

— Ну, что же ты, Савка?— заревел из ямы Сохатый.—Бросай, што ль, жердь-то! Скорей, чорт, поворачивайся! Успеешь еще наглядеться... Живем теперь, ядрена курица!

Савка, сведя локти и сжав ладонями щеки, согнувшись, стоял неподвижно, как истукан.

— Савка, ты что же это, сукин сын!..—заволновался Сохатый.

Савка колебался. Вдруг выпрямился, торопливо нацелил оружие, схватил сумочку, поймал на-бегу за повод Рыжку, трясуцимися руками распутал своего коня и, прыгнув в седло, исчез в чаще...

Прислушавшись к удалявшемуся топоту лошадей и треску чащи, Сохатый сначала остолбенел, потом стал дико метаться по яме: скрипел зубами, грозил и плевал в дыру, в которую только что сам, своими руками, вытолкал белого на волю. Потом, схватив сук, скатившийся при под'еме Савки, стал яростно долбить им стену. Большие комья рыхлой земли повали-

лись на дно ямы, и вскоре под его ногами образовалась целая куча. Отвалив еще один большой пласт, он неожиданно наткнулся на большую растрескавшуюся глыбу. Опасность и бешенство удесятерили его силы, и огромная глыба, выйдя из гнезда, грузно стала возле стены.

Сохатый обрадованно ухнул: взобравшись на глыбу, можно было свободно достать до краев ямы!

Ухватившись обеими ручищами за толстый корень, спускавшийся сверху, он стряхнул с него пласт земли и выбрался из ямы.

Не найдя ни сумочки, ни коня, ни сапог, ни оружия, Сохатый опрометью, кабаном, бросился в ту сторону, куда направился Савка.

Долго бегал, задыхаясь, по разным направлениям. Но Савки нигде не было видно...

Часов через пять Сохатый, выбившись из сил, присел на поваленном дереве. И только сейчас во всей полноте понял ужас своего положения.

„В тайге, один, заблудился... Босой, с израненными ногами, с исцарапанными в кровь сучьями лицом и руками... без оружия... без коня... Главное,—его сумочка, в которой пакет с важным боевым приказом Ворона, огромнейшая военная тайна—в руках Савки...

Сохатый застонал и, сорвавшись, вновь бежал, бежал, сам не зная куда. Несколько раз он взбирался на деревья и жадно оглядывал окрестности. Но тайга сурово молчала, и ни одного звука не долетало ниоткуда. Безбрежное лесное равнодушное море! И найти в этом море беглеца?

— Ах, Савка, Савка,—бормотал Сохатый, бросаясь в другую сторону.—Я спас тебе жизнь, а ты, ты что со мной сделал? Эх, если бы только жизнь мою взял ты, проклятый!..

Иногда он останавливался и, затаив дыхание, слушал. Но слышал только собственное сердце да звон в ушах. Несколько раз бросался на подозрительный шум. Но вокруг были все те же хмурые деревья, мхи, топи, скалы...

Когда солнце висело уже над горой, Сохатый, совершенно обессилив, упал на траву.

— Что же это такое? Что же это такое?—шептал он, вставая на четвереньки.—А бумага? А Ворон? Как же я заявлюсь к своим?

И сидя на широкой поляне, подперев голову ладонями, он думал о своей беде.

Его расстреляют: это, как пить... Но разве смерти боится Сохатый? Что—смерть? Сумка похищена, в этом было—все.

Сохатый снова шел без дороги и направления. Спотыкался и часто падал. Он был голоден, но не замечал этого.

Перед вечером поднялся сильный ветер. Деревья, раскачиваясь, мрачно гудели.

Только здесь, один-на-один, он повял каждым кусочком мозга, всем существом ощутил, — что такое тайга. И только теперь, на 23-м году своей жизни, за эти сутки познал Сохатый, что такое страх. Только теперь он доподлинно узнает, что такое на свете беда!..

В тайге темнеет быстро. Ночь уже накрывала черной шалью долину. А через час совсем темно.

Ветер крепчал. И в его завываниях Сохатому слышался рев зверей и голоса лешего. Кто-то плакал совсем близко..

Чудилось, что он на стане. Был суд, и его, как изменщика, приговорили к расстрелу. Он сидит в бане, а его караулит Антипа. Он слышит в окошечко его голос:

— Сохатый, подойди же, чорт!

— Чего тебе?

— Чего, дура... утекай!..

— Я не побегу,—говорит Сохатый, уныло смотря на черную сосну, под которой он сидел уже давно.

Антипа, кривой, кудлатый, погрузил бороду в задымленное окошечко.

— Мы еще с отцом твоим первеющие друзья были,— дышет он в лицо Сохатому.—Беги, Артемушка! Чего зря пропадать? А мы с Ванькой насодим друг другу на башки шишек,— дескать, супорствовали шибко... Беги сейчас же! Сей же минут!.. Ха-ха-ха!—вдруг захихикал Антипа и превратился в бурята-Дылытку, с рогами, с зелеными огнистыми глазами по чашке.

— Нет, не вылезем,—не то говорит, не то лает Дылытка.— Я три часа бился... А это тебе ни к чему... Дымбэй—напрасно!— И Дылытка тянет в окошечко волосатую руку с когтями, стараясь схватить сумочку.

Ярко светит луна. Мертвенно тихо. Ветер стих. Деревья стояли загадочные и враждебные. Где-то ухал филин.

Сохатый, с трудом переставляя отекавшие ноги, тихо поплелся дальше...

Вдруг, совсем близко, один за другим, раздалось два глухих выстрела...

Сохатый быстро направился в их сторону.

Он увидел тропинку. Узнал причудливую скалу „шаман“, и понял, что вышел к „Подставе № 4“.

Сохатый зашагал туда...

### На подставе.

Лампочка-коптилка, изнемогая, борется с тьмой.

Длинные изломанные тени прыгают по стенам, лижут печку, кувыркаются и пропадают под полом.

Старый зверобой Калина сидит на обрубке за шатким столом, курит трубку и неподвижно смотрит на жестяной чайник.



Соболька, такой же старый, как и он, лежит у порога и, положив голову на передние лапы, пристально смотрит на хозяина своими добрыми глазами.

Старые неразлучные друзья, они сейчас партизанили и давно уже охраняли „Подставу № 3“, где держались запасные лошади, продукты и все необходимое „на всякий случай“.

Темно, тоскливо и сонно в землянке.

— Эх, ветрило-то наше разыгралось,—бормочет косматый Калина, прислушиваясь к завыванию ветра.—Опять, Соболька, смотри, накорезит деревьев... Ишь, как дурит! У-ух!..

Калина подошел к оконцу. Прикрыл глаза ладонью и долго хмуро вглядывался в черную пучину:

— Чорт, надо-быть, Соболька, опрокинул сегодня со злости свой котлище! Утонула, как есть, тайга наша, матушка, в смолище. Ничего ровно не видно.

Черные, плотные массы со всех сторон сжимали избушку. Только под самым окном, на свету от лампочки, видно было ближайшие деревья.

Взбесившиеся лиственницы яростно дрались между собой. Хлестали друг друга ветвями. Схватывались сучьями. Со стоном дико сшибались вершинами. Жуть ползла из-за избушки.

— Ну, как думаешь, Соболька, одному шичас ехать по лесу? Не шибко, пяря, весело? Врешь, подлец! Напрасно хвастаешь... Напрасно... Брось, глупый, эту привычку... Ну, ладно, ладно уже, пес! Давай, брат, лучше ужинать.

Калина заварил чай, нарезал хлеба и бросил Собольке кусок мяса.

— Получай свою порцию, да отваливай на службу! А то оба-то забьемся в землянку, так молодцы будем. Начальник нас похвалит с тобой: вот это, дескать, партизаны,—Калина да Соболька! Чаи распивают все время да в избушке посиживают, как тараканы. Дескать, награду имя надо дать... по десять плетей пониже спины. Правильно?

Соболька деловито занялся костью.

— Ну, будет... Молись богу да отправляйся! Карауль, брат, хорошенько. А я сосну малость. Поясница опять у меня, Соболька... Всегда так в погоду.

Калина выпустил собаку за дверь, убрал со стола и растянулся, с трубкой в зубах, на койке.

---

Не спится Калине. Ветер тревожит и давит на сердце. Стучит берестой по крыше. Дергает дверь. Воем окатывает и топит землянку. Мысли разводит беспокойные... Недобрая стоит ночь сегодня!

— Эх его!..—ворчит Калина.—Никак до утра будет бзситься? Лешего, что ли, хоронит, прости бог?

Думы больные привязываются в такую надеру.

Вот опять не отходит! Стоит в углу, с веревкой на шее, и смотрит... Как тот раз, когда повели из дому...

Палит Калина трубку за трубкой, гонит повешенного сына Андрейку. Но Андрейка не слушается. Стоит и смотрит.

— Не тужи обо мне, старый! За правшее дело и смерть не пужает... А трудящие так и так возьмут свое. Возьмут, отец, увидишь!

Так сказал Андрейка перед казнью. Перед тем, как схватили. Так говорит он и сейчас. И часто слышит его голос Калина в такую вот непутевую погоду. А закрывает усталые глаза— видит: пылает его избушка! Горят стены, валится крыша. Добро, нажитое десятками лет, гибнет... И тушить нельзя...

Задремал Калина. Забылся. Трубка упала на пол из свесившейся жилистой руки.

Опять разбудил Андрейка.

Калина сидит, свесив ноги с койки, смотрит в одну точку.

— Да, жись ты наша... И что поднялось?.. Брат на брата. Свои на своего. И злобой обогнали любого зверя! „Белые“... „Красные“... Вот он, Калина, красный. А кум Митрич, Андрейкин крестный,— белый! Сначала из деревни утек, буржуазам передался, а теперя, слышно, урудует полубовно с японцами... Супротив своих значит, воует кум Митрич!

Непонятно Калине. Если он, Калина, красный, так и ребенку малому ясно почему: правшее дело... земля... своя власть... прямой расчет трудящему!.. облегченье несметное всему народу!.. А кум? Значит,— изменщик кум! Повернулся Митрич на старости. Побоялся, надо быть, как бы живота при красных не стало меньше. За быка, выходит, продал своих Митрич! Что же? В добре жил. Нужды не видал сызмальства, потому и черствый до чужого горя...

Позыкивает ветер. Стихать стал. Мягко трется о стены, будто прощенья просит. Умаялся, надо быть, дикарь! Надоело, должно, лютовать. А вот люди... Скоро ли люди замирятся? Или до смерти будет жить Калина на подставе?

Завыл Соболька длинно и тошняще.

— Да... скушно псу... обижается, бедный... Что ж, ведь,— тварь? Завоеешь, брат, здесь!.. А, может, зверь? Так залаял бы таким случаем... Тоска взяла, не иначе...

Калина взял винтовку и вышел.

Огромная луна застряла среди деревьев, потом оторвалась от кучки сосен и тихо поплыла вверх, забирая над тайгой.

Ветер совсем ушел из лесу. Стало тихо вокруг. Только чуть слышно шептались еще перепуганные березки.

— Ну, чего ты тут разиюнился? Родину вспомнил? Это ты зря, Соболька!.. не полагается нам... Мне тоже, вон... Ну, а еже-

ли оба-то мы завоем, у волков доходу не станет... А ну тебя... Пошел!.. Цыть, дурак ты этакой!.. Развылся! Чего выть-то? Вот скоро наши прогонят белых да японцев,—домой поедем...

Погладил собаку и дрогнул в голосе:

— Ничего, старый, не пропадем... Найдемся к кому-нибудь... В молодости жил же я в рабочихках?.. И тоже... один был... молчи, старый...

Соболька пересгаль выть и пытливо взглянул в мокрые глаза хозяина.

Калина попроведал привязанных лошадей, подбавив им корму. Посмотрел потайник и, опершись на винтовку, долго задумчиво смотрел в глубину заснувшего леса.

Небеса раздались. Куда-то спешили тучи и тянули за собой Калинину душу...

Тишина...

Калина насторожился, а собака, взвизгнув, замахала хвостом. Далеко, по ту сторону пади, кричал дикий козел.

Трубил переливчато и тоскливо. Кого-то звал к себе „гуран“. Должно быть, и ему было тяжело в этих безбрежных дебрях, среди глухой, безмолвной ночи!

Соболька со всех ног бросился в сторону крика. А потом, остановившись, повернул голову и замотал тяжелым хвостом.

— Угонит, лешак,—пробурчал Калина и, заманив собаку в землянку, захлопнул за нею дверь.

Соболька, возмущенный провокацией, негодуя залаял и стал визжать и рваться наружу.

Гуран трубил ближе. Он медленно переходил глубокую, сырую падь. Калина решил поохотиться.

-- Все едино, не будет сна... не даст Андрейка...

Он углубился в падь. Крик приближался. Соболька лаял в избушке.

— Спугнет, окаянный, — шептал Калина, пробираясь навстречу.—Услышит и—до свиданья... Так и есть!

Гуран повернул вдоль пади... „Попустится?“ Это Калина-то?

Неудача только больше подзадорила охотника.

— Ах, шельмец! Каков прокурат?

Калина быстро зашагал за удаляющимся голосом.

— Врешь, батюшка мой! По целым суткам раньше хаживал, выслеживал вашего брата. Кричи, кричи, голубчик! Это мне на руку.

Тишь подавляла. Только изредка проносились шерохи, да вскрикивала во сне птица.

Деревья, насторожившись, стояли тихие и покорные.

Давно уже гоняется человек за зверем. Гуран то приблизится, то голос его раздастся далеко, не там, где думал Калина.

— Врешь, не уйдешь, молодец! От Калины, брат, уйти трудно. Это ты имей в виду, каналья... Ага!

Он увидел лурана. Схватился за винтовку, но зверь тоже заметил врага и стрелой бросился в чашу.

— Вот те фунт!..—разочарованно щелкнул языком Калина.— Ну, паря, счастливый ты, значит! А то пуля у меня послушьянная... Калина почесал затылок и пошелся обратно.

Выйдя на тропинку, он удивился: соседняя подстава № 4 была ближе, чем его. Почти рядом.

— Ловко! Верст шесть отмахал!.. Вот ведь, шут гороховый! Каков, каналья, куда уманил...

Калина решил зайти к соседу. Утром, провожая связь, Петрович звал его к себе „повечеровать“.

— Похоже как спиртишко раздобыл где, греховодник... Только откуда возьмется? Да и свинцом пахнет такая закуска (Ворон, слышно, дернул одного за это самое!)... Может, из связи кто сунул, отчаянный? Всякие ведь есть головушки! Ну, что ж?... ма-ленько можно... с устатку... Начальник связи... А он откуда узнает, Грохалев-то? Да и не для пьянства же! Вон у меня поясница... Вот, ведь, греховодник! То-то подмигивал давеча.

Луна поднялась уже высоко, и на полях было светло, как днем.

Подойдя к землянке, Калина увидел оседланных лошадей, скрытно привязанных в лощине.

— Что за чертовщина? Откуда могут вершине?—разинул рот Калина.—Диво.

Из избушки рвались хриплые крики и стоны.

— Братцы!.. Братцы, пожалейте!.. О-ой... братцы!..

Калина бросился к окошку и заглянул внутрь избушки.

Петрович, избитый, стоял посредине пола на коленях. Двое незнакомых держали его с боков за руки, а третий, усатый, поднял над его лысиной пылающую головню.

— Поведешь, старый пес?—рычал усатый, приближая головню.—Покажешь?! На костер, скотина, посажу! Жилы, мерзавец, по одной вытяну... Поведешь?

Калина понял.

„Белые... Как они, гады, сюда попали?“

Кровь закипела в жилах. Стиснул зубы от злости до боли. Сорвал с плеча винтовку...

— Погодите, собаки.

Один за другим грянули два выстрела, и державшие за руки Петровича люди грохнулись на пол. Усатый бросился за дверь, но тут же повалился с разможженою головой...

Умел стрелять зверобой Калина! Умел работать прикладом старый богатырь Калина!..

Он кинулся в избушку.

Петрович, окаменелый, стоял на коленях на том же месте и с ужасом водил глазами по сторонам.

Увидав Калину, дико вылупил на него глаза.

— Калина... Ты? Калина?.. Свой!.. Ты, брат Калина?..

Калина выбросил за окно дымившуюся головешку, развязал Петровичу руки и вылил ему на голову ковш воды.

Петрович пришел в себя. Поднялся на ноги, но тотчас же опустился на лавку и заплакал.

— Что только делают, злодеи!— всхлипывал он, выплевывая кровь.—Что только делают!..

— А ну, пей!—сердито сказал Калина, поднеся ковш ко рту Петровича.—Что же? Собаки, так они собаки и есть... Да пей же, ну!.. Расквасился, робеночек!

— Ой, Калина, Калина!..

Вдруг дверь распахнулась, и Сохатый страшным привидением вырос перед стариками...

Петрович вскрикнул, а Калина схватился за винтовку.

— Свой я, товарищи,—слабым голосом произнес вошедший.— Не узнали?.. Сохатый я... Белые, значит... Артем я, Сохатый...

И повалился на койку.

— Пить дайте...

Вот тут-то и пригодился петровичев „секрет“! Недаром он подмигивал утром Калине.

Выпив целый стакан спирту, Сохатый ожил. Он с жадностью съел большой кусок козлятины и только теперь заметил валившиеся на полу трупы.

— Это что у вас такое?—мотнул он головой на лежавших.

— Это убойна,—мрачно усмехнулся Калина.—Жареха тоисть. Белые козлы, вишь, залезли в петровичев огород... Скружили малость...

Сохатого будто пырнули ножом; махнул с койки и перевернул одного из убитых лицом на свет.

— Савка!..—задрожав, глухо сказал он и взревел.—А бумага?..

Он запустил руку в карман савкиных штанов и вынул оттуда маленькую сумочку.

— Цела!—дико захохотал Сохатый и трясущимися руками достал из сумки залитый сургучом конверт.—Цела! цела!—выкрикивал он, как сумасшедший. Потом положил конверт обратно, прижал сумочку к груди и долго стоял истуканом.

Крупные слезы катились по его большеносому, израненному сучьями, лицу.

Калина, ничего не понимая, отвернулся к окну и фыркнул:

— И этот... Еще лучше, тьфу!.. Расслюнявились, язве то их, кобыляки!

С рассветом, тщательно упрятав „бумагу“, Сохатый бодро ехал в отряд Деда.

Поминутно ощупывая пазуху, он отстегнул кобуру тяжелого кольта и зорко поглядывал по сторонам.

# На рельсах.

А. Макаров.

## I.

**Ч**то ни шаг—стеклянные лужицы, а у меня от частой беготни потеют волосы, и кажусь я себе курчавым барашком. Поскользнулась нога в дымный ручей, и бурлит вода кипятком на сапоге. Над самой мостовой солнечный столб вьется, кружится, хлещет золотыми крыльями. Бегу на синюю тень. Жарки весенние мысли.

В руках—рассыльная книга, в ней пакеты: НКПС, „весьма срочно“, Дорпрофсоюз, ЖЧК... Почерки разгульные, номера—дробь на дробь лезет. На железнодорожном мосту солнечный гомон, воробьиная свадьба, летят выдернутые перышки... Дышу тяжело, облокотился на перила и кричу вниз:

— Тс-с-с...

На вагонных сходнях—Ленка; прислонила белые ладошки к лицу—глаза серые, на летнюю пыль похожи.

— Носить тебе не переносить...

-- Говоришь, с книжечкой гуляешь, легким дельцем занялся?..

— Я что хочу, то и ворчу...

-- Где уж нам выйти замуж...

Ленка язвительно улыбнулась и скрылась в вагоне. Вернулась, поправила волосы ясного медного цвета. Белый платок, повязанный на манер шарфа, заломлен на высокий лоб.

— Небось, ходил на крушенье?

-- Ходил.

— Много побило?

— Много. Один вагон в щепки разнесло, другие под откос легли.

Чужое несчастье сближает нас. Она подымается по пригорку, лицо живет, захлебывается воздухом,

— Черненкового машиниста жалко, третий раз помяло.— Я вспоминаю смуглое лицо, добрые котельного цвета глаза. Стоит на коротеньких ножках, говорок украинский. Спросишь:— Черненкокий, как дела?—Высунется с паровоза:

— Гирька доля...

Молчанье перебивает Ленка:

— На поезде много наших было?

— Всех в узловую повезли. Невредим только тормазной кондуктор...

Полезла в карман, пальцы длинные, тугие.

— Нам папиросы выдавали, я не курю, хошь, возьми...

Лицо у Ленки строгое, скулы угловатые, а слова, как у сельских учительниц, благородные. Вот эту-то благородность я и люблю.

— Эх, и рослая ты девка!

— Поумней ничего не нашел сказать?..

Медленно расходимся. Плечи у ней широкие, а сама — тонкая.

— Лена, небось, на высоких каблуках доски таскать неудобно?

Она оборачивается и смотрит на меня строго-строго. Я подмаргиваю, стреляю глазами... Заулыбалось ее лицо, заиграло золотом.

— Эх, чертенок!.. — и пошла без оглядки.

Вскрик ее мне очень понравился, и я несу его в своей памяти. Недавно я читал „Песнь Песней“ царя Соломона и тут же подумал: „Голос, как стрела, поющая в воздухе“. Я еще раз подбегаю к перильцам, ложусь на чугунный край и кричу:

— Приходи вечером на первый участок... — и отскакиваю прочь.

Возле дома-коммуны в открытую форточку женский плач с причетом и криками:

— Сокол ты мой я-сный!..

Из глубины низким гудом отзывалось: у-у-у!..

Спотыкаюсь о девочку, рядом женщина с дико-растрепанными волосами страшно поглядела на меня, сорвала с плеч косынку и сказала срывающимся голосом ребенку:

— Беги к отцу на работу, скажи — дядю Гришу задавило!..

Еще раз брызнула слезами, выдернула из-за юбки край кофты и приложила к лицу.

У стрелочника на огородах пылала плодородная грязь. Наклоняюсь к земле низко-низко, и в мокрой жижице, раздробленной на кусочки, лежит лицо мое. Уж очень я люблю весну, и поэтому мне многое простительно...

Когда я вернулся в управление дороги, никто не удивился.

Так же по-острожному суровы стены, и пахнет табаком.

У дверей дорожного исполкома стоит мой столик, покрытый газетою. На нем рассыльные книги, разноцветные письма и желтые докладные листы. Желающие пройти в исполком глядят на меня ласково, как бы любят меня мною. А один подрядчик, так тот зовет меня не иначе, как „господин-товарищ-комиссар“. Это мне очень нравится, и я ему сам пишу докладную записку.

В коридоре — шум, беготня, а звонок слабый: как воркованье.

Если б даже из пушек стреляли, я и тогда его услышу! Дергает за нервы, срываюсь с табуретки и бегу в исполком. А там ряды голов и все бритые, только один лохматый. Когда говорит, голову вверх подымает. Пьют чай с леденцами. Мыкаюсь, кружусь, кто звал? Комиссар дороги махнул пальцем, наклонился ко мне; волосы светлые, слегка потертые. Смотрит долго, глаза синью налиты, подбородок решительный, как сжатый кулак.

— Друзе мой, сменить тебя некому. Иванов в тифу, Разин за картошкой поехал...

Затылок мой делается горячим.

— Товарищ Васильев, двое суток работать не стану, это безобразия!

— Товарищ, тише, тише—всех напугаешь... А я вот и сплю на этом стуле, понимаешь?

В глазах замутилось. Себя жалко, да и людей стыдно.

— Ты еще сутки подежурь, а потом я человечка приспособлю.

Брызнул я на него глазами, захватил ведерный чайник и вышел.

По канцелярии расхаживали плательщики, люди высокие, солидные. В руках железные кассы. Самый молодой оперся на мой столик:

— Распишись.

— Не буду.

— Не хочешь деньги получать?

— Не хочу!

Плательщик засмеялся. На другой день он был убит.

Вечером в каменных коридорах — тишина. Шаги становятся гулкими; медленно обхожу этажи, зажигаю электричество.

В уборной лампочку кто-то свистнул.

Распахнул окно. На линии огни, паровозные искры. В синем сумраке полоскается гармошка: это—у барачков.

— Товарищ, кипяточек требуется.

— А, борец-любитель!..

Я его очень люблю. Показывает мне, как нужно делать бра-руле, загибать нельсона. Когда он пьет чай, то закладывает за ухо каштановые усы.

— Усы нужно нефью мазать, тогда на них блеск и радуга.

Садимся на письменный стол и пьем чай. У Синельникова голос густой и мягкий.

— Ты говорун, с тобой хорошо дежурить.

В двери легкий стук. Приехали делеши. Они всегда порят нашу компанию. Читаем вместе: „В. срочно. Поезд Троиц-



кого в 7.30 на третью платформу"... Вверху стояло: „копия НКПС“.

Выхожу из кабинета, ложусь на подоконник: маневровые паровозы с легким шумом пробегают, как тени. Вспоминаю, что теперь весна, поддаюсь этой мысли, закрываю глаза... Бывают в жизни такие минуты, когда находишь самого себя. Слушаю робкие шаги — женские шаги весной, как музыка.

— Не упади из окна, плакать буду.

Внизу Ленка. Вижу только темную фигуру, но чувствую, как она стройна и красива, и тело ее полно аромата.

— Ты опять дежуришь?

— Что ж делать.

— Бедный...—а в голосе обольщение. Ах, лучше бы она этого не говорила: затосковало мое сердце, облилось мечтами.

Спустил голову ниже. Хочется разглядеть лицо. Я знаю, оно очень белое, и белки глаз большие-большие:

— Леночка, иди сюда!

— Зачем?

— Поговорить хочется.

— Поздно, завтра увидимся. Ты что ж, сегодня обедал?

— Похлебку ел, хлеб остался...

— Хочешь, я тебе кусочек сала принесу?

— Какого?

— Свиного...

Я замотал головой.

— Ты себе-то пальца нарасти...

— Ну, и бессовестный!

Тень померкла. Я кричу: „Леночка!“

— Больше не разговариваю.

Немного отойдя, она кричит мне: „Дура-ак!“...

— Барышня, что ли, к тебе приходила?

— Да, барышня...

Сердце охватила сладостная боль, и мучительны рукам каменные стены. Синельников раскачивается у окна и свичет:

„Сизый голубь под застрехой

„Ходит и воркует...“

На вокзале усилился шум. В зареве фонарей затрещали винтовки. Синельников крутит усы по ветру: в чем дело? Потом дернулся к аппарату:

— Москва первая, что у вас за шум? Что?... Милиция порядок наводит?... Ерунда...—сказал Синельников:—максима отправляют.

После гудка трескотня умолкла.

Проснулся я ночью—депеша о поезде Троцкого лежала на столе.

— Товарищ Синельников, что ж ты наделал, депешу не отдал?

— А что с ней делать?

— Ты комиссар, ты и пиши, что тебе на ум взбредет!

Посмотрел он на меня, смеюсь я или нет. Позвали диспетчера.

Тот помянул матерей наших, и галопом к аппарату.

## II.

Весенние недели медленны. Отход поездов провожается пальбой; к этому привыкли—даже делопроизводители проверяют часы по задкам. В комнате у меня полутемно, под окнами красный забор. Тут же напротив депо. Открыл окно, ворвался паровозный пар и покрыл всю комнату; а после на столе роса, и потолок мокрый. Открыл дверь, чтоб просхло, и вышел на улицу.

Высокого артельщика убили бандиты, отняли мешок с соломой (думали, совзнаки). Хоронили его в ненастное утро; женщины плакали. Кто-то рассмеялся—его стукнули по кантикам. Всех лучше плакала Леночка, холодно и молча. Я разгребал руками землю, выбирал из нее камушки и обкладывал бронзовые сосны; на них пасмурные серенькие птички. У нашего сторожа усы от слез мокрые и противные. На гроб он смотрел как-то особенно по-сердечному: любят же люди страдание...

А мне вот сегодняшнее солнце дороже всего. Пусть в доме пар, и мокнут стены, чорт с ними!—и окна не закрою. Вот слышу шум, как галочья стая колышется над бараками гляжу, дел●—кутерьма... Бьются человеческие голоса, звенят лопаты, люди без картузов, босые, мечутся друг перед другом. Красная рубаха бежит за синей, их разнимают десятички.

— Дядя Егор!—окликаю сторожа:—что там?

— Потеха!—у дяди Егора лицо счастливое.

— На обед, что ли, пришли?

— Где тут на обед, еще на работу не ходили. Ребята живут молодые; когда спали, пришли к ним девки, обобрали сапоги, и—за мое почтение—в двенадцатый барак отнесли, а из двенадцатого сапоги им взамен принесли... Просыпается поутру вся эта бражка—никто своих сапог не найдет, и, поднялась тут в обоих бараках карусель... Все перепутали, сам чорт не разберет, ни один сапог на ногу не лезет...

А с баракон несется:—Напод-дай ему, напод-дай!

— Эй, галдеж, тише! Васильев пришел!

Сразу как-то стало пустынно; толпа расступилась, и показала две сотни сапог, сваленных в кучу. Голос у Васильева сдержанный, без волнения: глядя по тому, как задние чесали у себя в затылке, можно было подумать, что он говорил не о политике, а о чем-то другом, что заставляло дер-

гать из загылка волосья. Сзади крикнули:—Обедать идить! Толпа сразу отпрянула и повернулась лицом к столовой. Васильев потянул запах, но в воздухе ничем не пахло; тогда он первый пошел по рельсам, а за ним и все, прыгают, как воробы. Дядя Егор подошел к сапогам и почтительно выстроился:

— Нужно сберечь.

Я тоже подошел, сапоги лежат в самых разнообразных позах.

— Украдут, потом будут виновного искать. Вот у меня прежняя жена такая же была, скажу я тебе: беззаботная! Зато песни пела, как канарейка, а уж плясать пойдет—все медные отдашь... В глаза будешь смотреть—засохнешь. Как плечом поведет, подбоченится, одна выходка что стоит—прямо пропадай на этом месте! Какое-то в ней вино было, теперешние бабы не то... Может, в глубоких деревнях такие хоронят. Дорожный мастер Александр Иванович, как глянул на нее, так и не вышел, пока с собой не увел...

— А как же ты?

— Что ж делать, два раза на рельсы головой ложился, все люди спасали; потом начальство пригрозило: если еще раз вздумаешь, разочтем! Ну, а теперь уж не до этого, года ушли.

Я подлез под вагоны и вышел к забору. Поклонился у моста часовым, хотел пройти в управление, но остановился: вижу Васильев стоит и показывает Ленке наган. Подставляет себе под висок и щелкает барабаном. Делаю вид, что закуриваю, а сам внимательно гляжу: Васильев разговаривает бархатным голоском, он находит, что она нуждается в отдыхе, что в Сокольниках у нас свой санаторий... О, она согласна подать заявление, она чрезвычайно обижена—столько лет работает и никуда ее не переводят. Васильев намекает на свою ответственность перед трудящимся классом, он агитирует ее, старается быть понятным и душевным. Я знаю, что такое Антанта и разруха, когда это говорят девушке, которой хотя бы понравиться... Ленка жалуется: пора бы ей дать работу полегче.

— А нам как раз требуется дежурный курьер, обязательно устрою.

Мне делать нечего, я нарочно долго закуриваю и наблюдаю. Они говорят залоем, перебивают друг друга; он восторгается ее руками, тугими, как резина, и каждый палец мусолит в своей ладони.

— Завтра же подайте заявление об отдыхе...

Я кое-что намотал на ус.

На другой день часы были переведены, и я опоздал на час...

У моего товарища, которого я сменял, был самый верный предсказатель погоды; устройство его—перебитая нога,

сращенная коромыслом. Ходил он с суковатой палкой. Провинциалы часто обращаются к нему:

— Товарищ Иванов, какая завтра будет погода?

Тогда он садится на стул, держит ногу на весу и слушает самого себя:

— Может, ненастье будет...—и никогда не обманывал.

Меня же зовут Иосиф Прекрасный, и находят, что если бы я не брился, на моем лице были бы все добродетели написаны.

Под моим столом лежат стопки агитационных брошюр, и все это я перечитал в морозные ночи; когда меня дожимал голод и холод и страх большой смертности, я ходил с Ленкой на митинги, подбадривал самого себя и пел Интернационал. И теперь от чтения агиток я чувствую, как во мне скапливается сила, и мне самому ужасно хочется говорить, очень много говорить.

На вокзальной площади карта войны, и кого там только нет, начиная с красноармейца и кончая подозрительным субъектом. Там я прославился, как оратор, на меня на улице несколько раз указывали пальцем. Тут-то я и познакомился с Леночкой. Выхожу из толпы горячий и счастливый, она и спрашивает:

— Мы с вами на одной дороге работаем?.

В тот же вечер я подарил ей сушеную воблу и одну конфетку.

Иванов передает мне дела:

— Это отнесешь в службу движения.. тяги... пути...

После тифа лицо его морщинисто и глаза воспалены.

Сегодня свет на улице розовый. Сажусь за стол и пишу заявление: „По состоянию здоровья нуждаюсь в отдыхе...“.

Во врачебной службе наталкиваюсь на Ленку, у ней заявление длинное-длинное и написано чужой рукой.

— Что ж,—говорю,—хочешь с комиссаром гулять?..

Ленка горестно качает головой:

— Дурак ты, дурак! Для тебя же лучше, если я буду покрасивей...

— Что ж, тебе комиссар красоту придает?

— Ты думаешь, от такой работы тело не корежится? Поди, поворожай шпалы, рельсы... А он что—только работу полегче даст. Ведь для тебя все стараюсь, самому приятней будет.

— Ну, старайся.—Чтобы уйти, я кинул на ходу заявление.

Сажу за столом, чай не пьется, картошка в рот не идет. И такая-то грусть на сердце, а тут еще человек пристаёт: немедленно хочет в исполком; одет по-штатски.

— А вы кто такой?

— Я начальник охраны, сейчас же доложите.

— В таких случаях нужно обращаться к коменданту, он пропуска дает, а после ко мне в очередь.

— Товарищ, прошу без разговоров.

— Что ж, я сведу, мое дело маленькое...

Подходим к столу. Васильев глядит строго, без прежней улыбки. Рубаха у него в голубых цветах и похожа на бабью кофту.

— Начальник охраны по экстренному делу!..—кричу на весь исполком.

Начальник охраны прилег на стол, говорит шопотом. Мне неудобно слушать — выхожу за дверь. А дверь не закрывается. Те оглядываются и просят: — Плотней, товарищ, плотней.

Через полчаса управдел собирает курьеров. Мы топчемся около него, внимательно разглядываем каждую морщинку, косые глаза; когда он идет, то на один бок переваливается, а сзади шепчут:

— Карнаухий идет, карнаухий...

Он оглядывает нас и старается быть строгим.

— Вот что, товарищи: первое условие—не болтать никому и ничего, таков приказ комиссара дороги. Сейчас предупредить, чтоб все службы и канцелярии были заперты, и не выходить оттуда никому до особого распоряжения, а к себе никого не пускать.

Сделано было тихо и таинственно. Караул снялся и ушел на линию дороги. Раз-два, раз-два!.. покачал в такт штыками и присел в темноту у моста. Задний выход заперли. В оборных штатские люди, в руках наганы. Хотел я войти, погнали к чорту. Васильев носится по этажам, рука в кармане; он затасил меня в исполком.

— Чорт возьми, хорошо, что нас предупредили...

Потом он садится на диван, за окном трещат грузовики.

В исполкоме человек семь, и все в напряжении. Васильев спохватывается:

— Еще про одно забыл!.. Беги в ячейку и скажи, чтоб тревожных звонков не давать ни под каким видом.

— Да-да...—кричат от стола:—товарищ, поскорей!

В коридоре тесно, незнакомые люди кружатся, шепчутся. Внизу глухие удары, звон стекла, потом выстрелы, и вдруг пронзительные звонки подняли суматоху. Чорт возьми, я опоздал!.. Куда ни погляжу—езде наганы, у одного светлая бомба, и надо всем голоса:

— Руки вверх, сдавайтесь!.. все равно, вам не уйти!..

Толпа хлынула вниз по лестнице, стреляя в окна, в потолки, и потащила меня. Подо мной охает женщина. Я пихаю ее к стенке, шляпа у ней ухарски сехала на затылок. Внизу нас опять встречают наганами, криками: сдавайтесь!.. Поворачиваем к заднему ходу. Воздух горячий, каждая капля крови горячая. Я пытаюсь попасть в исполком, но дверь закрыта наглухо. В конце коридора караул построен в карре: „Сдавайсь“...

Тревожные звонки охрипли, задыхаются. Нами овладела паника. Женщина в ухарской шляпе заломила руки к голове и вопит нутряным голосом: — О-ох!.. — Многие бросились, очертя голову на четвертый этаж, и там натываются на штыки. За окнами глумится оцепление. Вдруг парень с горбатым носом поднял над головой бомбу и с отчаянием в голосе:

— Братва, нас предали!..

Вопль женщины заглушил его голос: — О-ох!.. — Ее стон заволокло матершиной. Чувствую себя в тесном кольце; никак из него не выбраться, кругом картузы, кепки, на головах удалые прически. Бандиты провоцируют пожар. Протискиваюсь к женщине, у ней глаза рыбы, на выкате, лицо в больших морщинах. Утешаю ее, как только могу, а сзади караул настойчиво требует:

— Ложись все до одного!..

У парня с орлиным носом выхватили бомбу, повалили на пол, руки назад... В рядах замешательство...

— Я сдалась, я сдалась!.. — Женщина выпятила руки, ее, как репу, выдернули из толпы. Я видел, как она ударилась о косяк. Тут я все понял: нужно и мне сдаваться.

И кричу: „свой, свой“... Меня ловят, толкают спиной вверх, потом я падаю на женщину и чувствую на руках железо. Бандиты вырываются, грызутся, молча и без выстрелов. Последние из них сами вышли и подставили руки. Вдруг мое сердце запрыгало от радости: я увидел коменданта.

— Товарищ Сергиенко, освободите меня!..

Он покрутил светленькие усики: — Сейчас освободят.

У женщины волосы в крови. Я слышу, как она вертится подо мной, теперь она зовет глухим басом:

— Товарищ Сергиенко, я счетовод с десятой версты!..

Первым выводят главаря. Сапоги на нем щегольские, высокие. Он оборачивается к лежащим:

— Братва, едем в советскую гостиницу, затылки сверлить!.. — но никто не засмеялся.

Меня подняли, освободили руки и отвели в исполком. Вскоре туда привели швейцара с забинтованным глазом.

Спустя полчаса, сидел я за своим столиком и думал: „Вот это, пожалуй, и есть то, что мы называем жизнью“. Философия — самое лучшее лекарство, когда человеку худо.

Иванов сидит на подоконнике:

— А ведь они могли вас всех перещелкать, их сорок человек, отчаянные ребята. И грабилька завелась на свете! За деньгами приехали на двух грузовиках, а ребята один к одному, фартовые; и нюх у них острый, знают, когда денег много... — Лицо Иванова обросло рыжей щетиной, а парень он хитрый и сердечный. Чужую жену зажил. Он положил подбородок на палку, лицо у него как у сонного петуха.

— За хлебом думаешь ехать?

— Думаю.

— На тендере не советую, поезжай в вагоне. Я на тендере верст 90 от'ехал, не мог спины разогнуть, все дрова кидал... Вон к тебе карнаухий идет.

— Он вечно ко мне.

В руках у него рассыльная книга:

— Тут, так сказать, дело семейное... Вот это отношеньице, а также мадам Клинову, сдай в арестный вагон. Четыре дня прогуляла, пусть отдохнет. Это нужно сделать сейчас же.

Говорил он ровно, не спеша, наслаждаясь своим голосом.

Немного погодя, вышла Клинова с подушкой и узелком.

— А где мой кавалер?

Иванов зарумянился:—Ваш кавалер давно на-чеку...

— Вы мне поможете подушку нести?

— Пожалуйста.

Она зашла в уборную поглядеться в зеркало; на шляпе у ней острое, как перст, указующий в небо. Я ее хорошо знаю, это очень бойкая делопроизводительница. Кротость у ней лошадиная, и мы зовем ее „коняшка“. Только вышли на рельсы, она уже обеспокоилась:

— А нам далеко итти?

— Минут восемь.

— В таком случае, пойдете медленно.

Я не протестую, я на все согласен. Она поглядела вверх:

— Вам не кажется наше северное небо низеньким и маленьким?

Я тоже поглядел вверх, но в моих глазах оно высокое и большое.

— Не кажется.

— Ах, какое небо в Италии! Вы никогда не были в Италии?

— Никогда...

— Если бы вы видели тамошние звезды, ах, какие крупные звезды! А какой там воздух, когда гвоздика цветет! После юга грустно жить под этим небом...

На товарном вагоне сидит ворона; роется носом под крыльями. Ксгда мы поравнялись с вагоном, она каркнула, делопроизводительница махнула на нее узелком; ворона взлетела, поравнялась с кладбищем паровозов и опустилась в трубу.

— Меня сейчас в России как-то все приземляет, я не люблю России,—а когда-то очень любила, когда мне было только 20 лет. Теперь нас называют интеллигентами, а разве интеллигенция не была революционной!.. Пойдемте, пройдемте в эту рошу.

— Пожалуй, можно.

Я на все согласен, мне очень приятно гулять с образованной женщиной; ведь она была в Италии... В рошице мы сели на старые пни. Перед нами чахлая березка.

— Зимой эту рошу срубят?

— Ее уже почти срубили.

— Хорошо бы сейчас сесть в вагон и поехать куда-нибудь на юг...

— Нет, из того вагона в чеку можно попасть, а на юг очень трудно.

Я слез с пенька и лег на траву. Гляжу сквозь кулак на облачко, оно белое-белое.

— Вы женаты?

— Нет.

— И не женитесь, теперь очень трудно жену прокормить.

— Рад бы не жениться, да уж очень я баб люблю!..

Делопроизводительница рассмеялась и ударила меня по фуражке. Я сорвал листочек и стал жевать.

— Выплюньте скорее, в городе трава паршивая...

Я встал, взял подушку,—она молча идет за мной.

В служебном вагоне нас приняли весело. Комиссар очень похож на телеграфиста. Пока расписывался, чихнул в мою книгу. Угостил меня „Ампиром“, закурили. Делопроизводительница упрекнула:

— У вас свои папиросы есть, а вы чужие курите.

— Чужой дымок слаще...

Комиссар подергивал себя за пуговицы, на которых топор и слесарный ключ крест-на-крест положены. Странный он человек: зажмурился, побарабанил по столу—„а теперь—говорит—можно в вагон для арестованных“.

Жалко мне мадам Клинову, она всегда была с запахом молодой березы... Обернулась ко мне с подножки вагона:

— Я ненадолго...

Минута замедлилась: прежде чем войти, она долго разглядывает дверь, потом героически заламывает голову. Чорт возьми, как это к ней идет! Тут я вспомнил, что она курит, а я ни разу ее не угостил. Внутри меня бунтует, кричит.

— Дорогой товарищ, зачем вы ее сажаете в вагон? Ведь она так хорошо рассказывает об Италии!...

### III.

Распустился тополь, и в сером коридоре странная тишина. У окна—зеленые сумерки. Ленка бежит по полотну дороги, вся в белом. Я знаю, она смотрит вниз и вспоминает последнюю встречу на линии: тогда луна была тонкая, как серебряный двугривенный. Я тогда назвал рельсы длинными звездами... Но, может, быть она ничего не вспоминает—это неважно. Дело в том, что она загородила си-



гнальный фонарик, и синий свет пронизывает белое платье. Как во внешнем мире все красиво и стройно! А вот в человеческом мире не все достроено, еще долго люди будут страдать, пока достроится человеческое здание и все будут счастливы. А теперь нужно корчиться от боли, убивать, радоваться чужому несчастью... но, что ни делается—все к лучшему...

По коридору стучит Ленка. На ней белые туфли, вся она свежая и сильная.

— Ох,—говорю:—теперь за тобой многие будут ухаживать!

— Почему?

— Да уж больно ты на спелое яблочко похожа...

— Тебя в дом отдыха назначили?

— На-днях ухожу в Сокольники.

— Как хорошо, а я завтра ухожу. Представь себе, что я видела! Против кооператива, на тротуаре, лежит голая женщина, ну, скажи—совершенно голая! А в руках—мешок, этим мешком она прикрывает вот это место...—Ленка указала на живот.—Мужчины разглядывают, кладут на живот деньги, а она лежит, трясется, наверно, в тифу...

— Куда-нибудь ее дели?

— Куда ж ее, такую? В больницу.

Пока мы разговариваем, Васильев высунул из двери голову, повертел ею во все стороны и, не замечая нас, затворил дверь.

За окном распустился тополь, и я распахнул обе половинки.

— Садись, Ленка, дыши!

— Ах, какой запах!..

Она ложится на подоконник, опускает лицо низко-низко, даже щека задевает за штукатурку. Я держу ее слишком крепко, будто она на самом деле хочет упасть. Если глядеть вниз, мостовая, освещенная луной, похожа на коврик. Наше окно—над самой верхушкой тополя.

— Хочешь, я отсюда попаду на тумбочку?

— Хочу.

Ленка прищурила глаз и замерла. Через секунду ленкина слюна, как пятак, стукнула о тумбу. Я брезгливый человек, но это не вызывает во мне отвращения. Однажды она увидела, что у меня лоб в саже, тут же намочила во рту край тонкого шарфа и обтерла мне висок. И я не побежал после этого под кран умываться, а чувствовал на себе что-то душистое и свежее.

Я посадил ее к себе на плечо и, высунув из окна, держу над каменной пропастью. Внизу шумят шаги, и там тоже девушка, вся в белом.

Темная фигура балуется ее руками, она очень громко смеется, может, быть для того, чтоб мы ее слышали...

— Ты знаешь Большую Медведицу? Смотри на мой палец... Видишь, на ковшик похожа?

Чтоб увидеть ее палец, я запрокидываю голову, и мне кажется—голова ее очень высоко над моей, и по лицу ее рассыпаны звезды... Но голос Васильева сломал мою мелодию. Я бережно опустил Ленку на окно, и взял от него пакет.

— Сейчас же отнеси в НКПС, эксплуатационный отдел.

Он бы мог меня по звонку вызвать, зачем же совать пакеты в морду?

— Товарищ Васильев, как же вы мне сдаете без регистрации?

— Это все сделано; на обороте контрольный лист, на нем распишутся.

Я очень хорошо знаю все пакеты, могу даже без адресата определить, кому предназначены; какие весьма срочны, и какие можно держать сутки и больше. Все это я узнаю по цвету бумаги, по объему, по форме отношений. Иногда в пакетах лежат пломбы, или пахнет столярным клеем, — значит, это образцы присланные на конкурс. В данном пакете лежат выполненные наряды, их можно держать месяц, два, три; место их—в пыльном архиве. Мне все ясно: пакет взят у дежурного агента. Я хочу сопротивляться, но Ленка тянет меня за руку:

— Это очень хорошо, мы с тобой прогуляемся и сдадим пакет.

За окном—луна. Веселость перебирает мои нервы. Мы тянем друг друга за руки и скатываемся по лестнице.

— Товарищ Лена, товарищ Лена!—зовет сверху Васильев.

Но я сапогами по железной лестнице заглушаю его голос и локтями расталкиваю дверь. Только на тротуаре Ленка спохватывается:

— Он, кажется, меня звал, а я сделала вид, что не слышу.

На улице—свежий ветерок.

— Простудишься... сходи за картузом.

Ни слова не говоря, бросаюсь во весь опор по лестнице. Васильев навстречу, лицо у него заискивающее и красное.

— Друзе мой, дай пакет, я думаю его сегодня не отсылать, он, оказывается, не так уже важен.—Он спускается по лестнице, я кричу в окно:

— Ленка, заходи!

В этот вечер я впервые узнал, как желты и неподвижны стены. Ведь всего полчаса хотелось побыть на воздухе!

Только теперь слышно, как у барачков зудит гармошка, словно тонкий лесной комарик. Ложусь на окно, рву лакированные листочки и бросаю вниз. Сзади Ленка:

— Почему же не пошли?

Я встаю с окна, делаю руки распятьем и пою:

„Опять двадцать пять, за рыбу деньги“...

Когда мы с ней идем по коридору, наши тени, высокие и черные, важно идут за нами. На повороте они смешиваются

и лежат, как разлитые чернила. Я провожаю ее к выходу и долго гляжу вслед. Вот она стала белым пятном. На пути стоит сонный паровоз, он заволакивает ее своим туманом. Тут же в кондукторской шинели бегают составители поездов и кричат:

— Восьмая!

Стрелочник повернул рычаг и не трубит в рожок, а рыдает. Паровоз подслеповатыми фонарями уперся в состав, стукнулся, и прокатился гром буферных тарелок. На миг косою луч фонаря осветил машиниста. Машу ему фуражкой:

— Черненький, уже поправился?

— Только помяло, недельку отдохнув... кажутъ, довольно...

— Плохо тебя поправили, плохо.

— Что же делать, гирька доля... на маневры послали. Выходи, покатаю...

Паровоз двинулся в темноту моста. В такие ночи он похож на черную, остывшую планету.

Вернулся я по звонку; Синельников дожидается меня у двери.

— Где у нас сегодняшние газеты?

— Иванов в них паек завернул, но он завтра принесет.

Мой ответ его удовлетворяет.

— В таком случае, будь любезен, подогрей куб. Я был там, он чуть теплый. Да, вот еще, чуть не забыл: сейчас сдай на телеграф... копии возьми обратно. Да нельзя ли поскорее...

Я отхожу немного подальше и спрашиваю:

— Говоришь, поскорее?..

Синельников хорошо знает: работаю я без отказа, и подогнать меня трудно. Конкуренции мне никакой, все живем за паек с ладонь величиной, большинство голодает, норовит уехать. Вчера, например, приходил машинист водокачки, просил уволить: „а не уволите, сам убегу“. Ему пригрозили предподобной матерью-чечкой. Он тер рукой голову и шептал:

— Вот тут и живи, а их шесть человек...

Телеграф на четвертом этаже, и живет он от нас обособленно. Ночи там—сплошная бессонница; женщины в мужских форменных тужурках, говорят другим языком и пишут другими буквами. Попробуйте прочесть подлисы принявшего депешу... ни за что! Это может сделать только старший по телеграфу, потому что у него очки большие и в золотой оправе. Хотя на нем китель с ясными пуговицами, но это не мешает нам по утрам в одном котелке варить картошку, и тут же на плите есть ее, пользуясь солью из одной бумажки. Все это продельвается молчком и очень вежливо. Сколько лет я с ним работаю, а как звать—не знаю. Недавно я не вытерпел и спросил: Как вас зовут?—Он очень удивился, его золотистые волосики наохлились, он завел глаза в потолок, будто задумался: как же его на самом деле зовут? Вдруг что-то буркнул непонятное и—бежать, я за ним:

— Как же вас зовут?

— Шапин меня зовут, Шапин...

И вот сегодня, когда я сдаю ундревзудчице депеши, он важно подвинул ко мне свой стул и говорит:

— Знаете, как меня зовут? Иван Николаевич.

На обратном пути я кричу на темные просветы канцелярии:

— Шапина зовут—Иван Николаевич!

Внизу сошлись с Васильевым:

— Друзе мой, где ты был?—задает слишком вопросительно.

Он ждал Ленку, когда она пойдет домой, и не дождался.

Завтра я увижу, сколько он выкурил папирос у входной двери.

— На телеграфе был.

Он следит за каждым моим шагом. Я направился в водогрейню, он забегает вперед, ищет Ленку, но ее нет. Наконец, наши глаза сцепляются, и я думаю: „Эх, если бы ты не был член РКП, уж я б тебе шею наломал“... Неожиданно тревожные звонки обожгли мысли. Судорожная трескотня колотится по пустому коридору. Сразу все забыто. На ходу мы обменялись улыбками. Караул покинул низ и пришел наверх, сидит на ступеньках и с колена целится в стену. Синельников, как пушинка, пронесся к аппарату. Выскочил Лыско из парт'ячейки. Это—самый веселый человек во всем управлении. Сам он, как плохой актеришко,—бритый, лысый, а вокруг головы волосики лежат желтым венчиком. Он на ходу так широко раскрыл рот, словно готовился кого оглушить. По лестнице—ноги колесом—бежал комиссар движения. В руке наган, а лицо трусливое и свирепое. В коридоре он застал меня одного—я стучался к дежурному агенту. Подскочил ко мне и теребит:

— Айда к начальнику караула!

— Нет, товарищ, сам беги, тебе на это и наган приделан.

— Товарищ, идем снаспар!

Слово „товарищ“ в его произношении звучит особенно трогательно. В знак согласия спешу за ним по лестнице. На ступеньках—полнейший покой. Торжественно трещат звонки, часовые целятся на стену. Лыско бежит с моим столиком, вскочил на него и рассматривает провода. Потом оборачивается ко мне:

— Посмотри все кнопки: может, чем придавлены. Я медленно пролезаю через караул, осторожно опускаю голову, и только отодвинул прижатый ко звонку стул—сразу все замолчало.

Все угомонились. В исполкоме пили чай, я дремал на подоконнике. Потом пришли курьерши с телеграфа, легли на жесткий диван, я слушаю их тоскующие голоса: говорят они о тепле рязанской деревни, о свадьбах, о майских венках.

Меня это очень интересует, и мне больно от этого: ведь я совсем не знаю деревни. Мне хочется подойти к ним поближе и сказать им: „Милая Нюшка, милая Паранька“... Но я знаю—они вытрескают на меня глаза и расхохочутся. Они говорят о первом заживье. Я представляю себе сутулую Параньку с серпом в руках; юбка подпоясана веревкой и подоткнута; мухи кусают ее разутые ноги... Я даже чувствую, как горячо и неумолимо над ней предосеннее солнце.

— Парань, а, Парань...—кличу из темноты окошечка.

— Что тебе? Собаки, что ль, грызутся?

— Да не-е...

— А что?

— Спой песенку—уж больно мне тошнехонько...

— Ему на душе маркотно, а мы песни пой. Тебе, небось, легче петь—ты добавочный паек получаешь.

Этим добавочным пайком каждый мне горло перегрыз, как будто я его украл, а что я на него получаю? Фунт ржавых селедок, и то с об'еденными головами... Паранька подняла голову, и роговой гребенкой расчесала волосы; глядит на меня миролюбиво и даже весело:

— Ну, что ж, твое счастье, хоть ты и добавочный паек получаешь, а в тебя не ползет, не лезет... мы вот на первой категории сидим, а во—какие...

Паранька похлопала себя пониже поясицы. Немного погодя, она говорит уже другим голосом:

— Ты не сердись, мы тебе споем... Я подала бумажку, чтоб отпуск дали, устрой ответ поскорей!

Я человек маленький, но возможности у меня большие. От входящей барышни бумаги идут к правителю канцелярии, тот пишет на уголках и сдает мне:—Отнеси на подпись...—и бумажек столько: подписывать хватит на неделю. Вот тут-то и моя воля: могу снизу положить и на самый верх, и—решение готово...

Паранька и Нюшка ложатся поудобней, закладывают руки под головы, пробуют песню и ведут ее медленно, бесхитростными голосами:

Вся природа веселится,  
И весной цветы цветут,  
Мае сердце лишь тамится,  
Мне одной атрады нет...

— Мне одной атрады нет...—высоко заносит Нюшка. Она хмельно выкидывает руками, бережно гладит каждое слово, и вот она далеко, далеко, теряется в весенней зелени...

В поле коза-чки, овечки,  
Ходят парами оне...

Подружки раскачиваются, сложили головы вместе, и диван под ними чудится великорусской дубовой кроватью.

.. Я сажу, млада, у речки,  
Вижу тень свою в ваде...

Паранька делает ногой, будто сидит за прялкой, отворачивает лицо в сторону, словно в воробьиное окошечко глядит. Вдруг тряхнула головой, распустила косы—и влетает в них кумачевые ленты...

Глубочек разво вьется,  
 Ко голубушке летит,  
 Салвей с своей пазружкой  
 Скоро встретятся в саду“...

За окном—странное гуденье. Вот оно приближается и свистит о воздух. Я слышу, как оно падает, тяжелое и страшное. Зданье дрогнуло и зазвенело, словно паровой молот ударил о чугун. На меня, как сухой лист, полетели стекла. В боях я бывал, и скрежет снаряда знаю. Взрывы идут глухие и частые, лопаются под самым окном. Высунулся, гляжу—иллюминация: полнеба в зареве. Товарный состав золотится, как в яркий солнечный день; в каждую рельсу, в каждое окошко просачивается кровь. Над ленкиным домом сверкнула молния и тут же грохнула черным дымом.

— Эге, это шрапнель...

Вагоны, как звери, рычат, толкаются, рвут из себя снаряды, воздух полон крика, огня, шума. Как тысячи деревьев наклонило от ветра. Скученные парозозы режут не своими голосами. Пары над ними клубятся десятками колес, и похожи паровозы на черных гигантов, потрясающих окровавленные платки. Над железнодорожным забором—куча огня, рядом трещат обугленные вагоны; над дом коммуны навалился дым. Он, оползая крышу, тяжело расходится по земле...

Когда я прибеж в исполком, мне бросилась в глаза жестикуляция над телефонной трубкой:

— От паровозной искры?.. На дровах без сетки?.. Постарайтесь прицепить Щ. 17... увести состав немедленно...

Лыско бегал от окна к окну, потом сорвал с аппарата трубку:

— Дайте Москва первая! Кем провод занят?.. Дайте Москва первая! Я загасил на столе чей-то окуроч; стекла здесь дребезжали, но гораздо тише. Васильев положил на рычаг трубку и показал на меня рукой:

— Я его вам тогда пришлю...

Мы вышли вместе: на лестнице толпились женщины, дети и рыжая коза. Это беженцы из дома коммуны, с охапками белья, поломанным диваном и подушками. Коза была очень веселой: лизала граммофонную трубу, наподдавала рожками узлы и катала по ступенькам. Впереди всех мужчина, с канарейкой и кроватью.

Все они набросились на нас— я отвел их в узкий коридор.

На улице суетились люди с самоварным золотом на голове; в руках у одного дрожал пожарный факел. С дальнего авто-

мобилия трубили в сигнальный рожок. Только паровой насос был спокоен и обливался заревом.

У оцепленья толкуются темные личности, картузы по самые губы надвинуты:

— Куда прете?..

— Да что мы—воры, что-ли?..

— Я не говорю, что вы воры, а очень на них похожи...

Темные личности смеются и растекаются по бокам. У красноармейцев лица из-под касок суровые, и похожи они на древних римлян.

Васильев распахнулся, на подкладке пиджака пришит пропуск.

Нас пропустили. Служебный вагон цел, но стоит поперек линии. Рельсы около него разбросало, и лежат они у колеса, как мертвые змеи. Подножка оторвана и свернута тряпкой; окраска вагона земляного цвета, стекла выбиты. На полотне вулканическая воронка, пахнет горелым песком и сыростью. На крыше вагона провода не порваны, и они кажутся мне выше и тоньше, чем сегодня днем. В вагоне пол перекосялся и стоит ребром, один ряд окон выше, другой ниже. Выхожу на площадку. Задние колеса сошли с насыпи и висят на воздухе. Пока Васильеву рапортуют, я слушаю, как гудят провода. Эти темные, натянутые ниточки всегда напоминают мне ночную бегущую степь... Степи, степи! Что там теперь творится! Усачи-бандиты пробуют французские ружья, кровянят землю, славят похабщину, лютуют коней, дурманят баб... А, к чорту эти мысли!.. Васильев орет в трубку:

— Щ. 17 прицепили? Оставить состав на восьмой верстел..

Черненький опять засыпался. Я влез на крышу и вижу, как тащатся разбитые вагоны. Из середины выскочил огонь и треснул. Вагонные крыши лежат на пути.

На линии темно и жутко, канонада утихла. Мне хочется повидать Ленку, войти в сумерки ее комнаты. Лампа у нее керосиновая, и сумерки зеленые до самого утра...

— Слезай!

Я прыгаю Васильеву на руки:—Ах, какой ты легкий!— и ставит на землю.

— Как темно!

— Нет, это после огня.

— Иди осторожно, не попади на снаряд, есть невзорванные.

Под горой остатки вагона с огромными поломанными ребрами.

На месте катастрофы нас как бы не заметили. Порвнялись с кольцом охраны—ни шопота, ни цыгарки. Красноармейцы стоят на-вытяжку. На насыпи—обугленные трупы. У одного торчит кусочек шинели и ременная пряжка. В руке винтовка приподнята над телом. Мы обнажили головы. У крайнего вместо во

лос—копоть. Начальник охраны осторожно освободил винтовку. Пальцы покойника, как черные лепестки, осыпались на полотно.

Начальник охраны обернулся ко всем, голос у него скорбный и торжественный:

— Вот как погибают герои. И песта не покинули.

Все неестественно замерло. Стынувшая тишина перебирает жилы. Ужасная, подавляющая глушь охватывает сердце. Откуда она такая? Даже слышу в ушах звон собственной крови, со страхом слушаю дыхание: слишком громко оно. Может, на меня сердятся, но что я могу сделать? Вот слушайте, как бьется мое сердце, жму его фуражкой, руками, а оно, как необыкновенный сверчок: ток-ток-ток... И дышу я не легкими, а позвоночником, каждый суставчик вытянулся и пищит, как дети в соломинку...

Наконец, я не выдерживаю и выхожу из круга.

У Ленкина дома садовые жерди повалены. Крадусь, как вор, дверь отперта. На потолке дыра до самого неба, а в дыре звезда. Ленка на пороге, чуть ногой не наступил.

— Что валяешься?

— Трясенье во мне... плохо слышу... пожар был...

— Чорт с ним, пойдем в узловую...

Мебель осыпана штукатуркой. Лицо у Ленки голубое с подтеками, на голос не откликается. Зову: Ленка, Ленка!

Засунул ей в нос спичку, а в ухо воды налил. Отошла.

Поднялась и говорит:

— В голове-то у меня жернова вертятся...—и бултых.

Тогда я зажег огонь. Она медленно протянула:

— Скорей надо в больницу...

— Чем это здесь пахнет?—Гляжу, а комнате какой-то зеленый туман. Я к печке, раскрыл заслонку—на красных углях дымятся валенки. Я полил на них воды, валенки зашипели.

— Еще бы не угореть от такого чаду,—и чуть со злости не заплакал.

За Ленкой пришли подруги. У одной голос грубый:

— Ишь, черти пожарные, потолок разломали... Ну, ты, контузия, в узловую...

Ленка через силу бодрится, хочет улыбнуться, губы дрожат. Я знаю, что ей хочется сказать:

— Завтра, как взойдет луна, приходи к семафору.

#### IV.

В Сокольниках дни, как в цветном графине. После грибной похлебки читаю газеты или занимаюсь вычислением, сколько верст до звезды Ориона. В сущности говоря, есть ли такая звезда, я не знаю, но это неважно. Вчера открылся клуб—сегодня закрылся, осталась поломанная вывеска: „Радиоволны идеи коммунизма разнесут всему миру“. Напротив клуба лежит желтая



сосна; на сухой чешуе вырезано сердце, пронзенное стрелой и подпись: „Вася и Таня. 1913 год.“ Сажусь на пронзенное стрелой сердце и жду Марусю. Вчера я получил от нее подарок: шелковый кисет, вышитый золотым овсом. От моей махорки он сегодня позеленел, и золотая мишура облетела. Каждый вечер она кормит меня жареной бараниной и сухим компотом. Разговаривает о нашей свадьбе. Венчанье будет с певчими и с паникадиллом, стоять будем на розовой атласной дорожке, которая хранится у нее в сундуке. Удали во мне много, и я на все согласен. Маруся кладет на руку конфеты: развернет, откусит и мне даст откусить. Я делаю вид, что ем жареную баранину и сухой компот, а на самом деле все это прячу в карман... И когда получу пару заграничных поцелуев и пожелание „видеть во сне жасмин—целовать, кто мил“...—несу припрятанное на женскую дачу к ленкиной постели. Она поправляется очень медленно. Днем ее выводят на плетеный диванчик, и она лежит в зелени.

— Где ты все это берешь?

— Повар дает.

Она может догадываться: ведь я ни перед кем не скрываю. Ловлю березку за тонкие ветви и нагибаю в окошко.

— Не ломай, подожди... кажется, автомобиль приехал.

У ворот кружится дым и слышна легкая дрожь мотора. Васильев приезжает по вечерам. Ночи сидит на балкончике с керосиновой лампой, окурки кидает под мое окно. Один раз я не вытерпел, набрал их пригоршню и снес к нему на стол. На другой день окурки лежали у детской колонии, где работает Маруся. Дети собрали бычки и пускали дым со слезой и морщиной.

Подсунулся ко мне малыш:

— Дяденька, знаешь, что про тебя говорят: лестливый телок двух маток сосет...

— Маруся у вас—экономка?

— Экономка.

— А я думал, кухарка...

У мальчишки глаза прозрачные, с серебрянным блеском, кожа на спине золотистая. Мы долго вдумчиво смотрим друг на друга.

— Дяденька, а ты хуже... Раньше к Марусе красноармеец ходил и нам пули дарил, а ты ничего не подоришь.

Сегодня вечер ненастный, с веток пахнет дождем. Из калитки мелькнула Маруся. Я нарочно ее не замечаю. Она подходит сбоку. Ее рыжая голова завита и пахнет жареными щипцами. Она особенно ласкова, ломает зелень и кидает в мое лицо. Я беру с дороги кусок земли и крошу над ее головой.

— Смотри, чередя расцвела!—рвет на ходу и дурманится запахом. Окунула в траву жирный подбородок, вздыхает до сосновой верхушки.

— Что с тобой, Марусенька?

— На гульбу меня тянет, тоска напала, а уж если раз'ярюсь, пусть меня тогда знобит, гнет, ломает...

Подошла ко мне поближе и говорит:

— Сокол ты мой ясный!

Навстречу—человек, босиком и в шинели:

— Товарищ, на пруду—облава, документику проверяют.

Слушаем голосяную суматоху и треск сучьев. Кругом трава примята, спугнутые парочки кружатся по оврагу, девки аукают, ложатся на гнилые пеньки. Подолы, как зарево—глазам утеха. У броневой школы садимся на лавочку. Во дворе поверка идет:

— Пеньков?

— Я!

— Калошин?

— Здесь!

В кустах красноармейская барышня шепчет на весь фронт:

— Ванька! Сахарку захвати...

В глубине рощи глухая стрельба. Маруся дает мне кусок мяса:

— Черти, из ружей палят! Стреляли бы с ремешка огуречиком...

Что она мне ни дает, от всего отказываюсь. Выставляю руки на дождь, от него выстрелы глуше и реже. Спрашиваю:

— Не правда ли, сегодня деревья скучные?

Она моих слов не замечает и жметя под черную липу.

— Смотри, из вашей санатории!

На дороге Шапин, мой сосед по комнате, глаза у него широко раскрыты. Показал пальцем в сторону:

— Слышишь, смерть ходит! Там бандита убили, он сейчас же распух... Кого только тут нет: заячий притон, а не Сокольниковики. Наша земляника кровью закапана—теперь ее есть нельзя... Когда он упал, лягушки из-под него во все стороны, а комары там носятся—тучей! Я убег.

— Храбрый вы человек, Иван Николаевич.

— Не скажите—я оступел. Мне теперь все безразлично. Настоящая-то моя профессия—строительный инженер. Сколько я на своем веку одних мостов построил! А сейчас наплевал на все—на телеграфе работаю... Никаких мостов нет, ни ремонта, ни зданий, есть голод, тиф, паек и женщины. Тут поют Интернационал, а в кустах—порнография.

Вижу его таким первый раз: сморщенный, и волоса дыбом.

— Я не говорю... Образованные люди будут, а благородных людей не будет. Чтобы они были, нужна традиция, а ее нет. Все дошли до откровенности, до наглости... Вы в санатории всех знаете? Кто там живет? Тещи старого начальства... За обедом, когда подали второе, Анна Павловна говорит: „Иван Николаевич, передайте Любовь Алексеевне, что я пошла

в уборную"... Если интеллигенция так распустилась—что же станет с пролетариатом? Революция породила массу никудышников, успехом пользуются люди, умеющие красно говорить...

— Иван Николаевич, я в эту сторону пойду.

— Еще одну минуточку: теперь революционные сатиры поют на мотив романса... а впрочем, задерживать не стану. Теперь каждый мальчишка докажет вам, что вы животное, а человеческое заглушается, в приземлении находится. Может, у меня из белого кителя пары выдыхаются, но уж извините: такая у меня конструкция...

— Иван Николаевич, воротись, суковатую палку забыл!

— Воротись, портки нашлись...— кричит Маруся.

— Будь любезен, перекинь через дорогу!

— Получай!

Облава прошла. Провезли убитого бандита, возок покрыт рожей.

На заборе читаем стих:

„Скоро, скоро приедет печальный гонец.  
Подаст песни разлук и утрат,  
Будет грезить туманам сад...  
Дорогая, свиданьям, наверно, конец“...

— У тебя есть карандаш, давай подпишемся!

— Тут и без нас подписей много...

Я не люблю Олений пруд: дорожки заплеваны и полны мусора.

Мы ушли в чашу.

Ох, суета и маята!

Маруся лежит от меня в трех шагах. Как только подвинется, я отодвинусь.

— Вся-то я озеленилась, темь какая, смотри, у меня вся юбка черная. Зажги спичку.

Только чиркнул—на юбке свежая кровь.

— Ох, куда же мне юбку девать, что про меня подумают! Зачем нас сюда принесло! Здесь его убили!.. Если юбку оставить, милиция станет искать, чья она. Знаешь что: отвернись пока, я сыму, а ты сожги ее.

В руках моих юбка теплая. Хотел Марусю задержать—как налим, скользкая... Хорошо, что ушла,—тоски не будет: с такими людьми я скучаю. Ломаю еловые ветки, смола на огне трещит. В голову кураж находит: приплясываю, подпеваю:

„Русски девки хитрей беса.  
— Долго ль с ними до беды!..“

„Русски девки хитрей беса.

— Долго ль с ними до беды!..“

Когда бросил в огонь юбку, костер затянуло густым дымом и зашипело. В роще стало тихо и жутко. Сырая дрожь пронизывает тело. Колени окоченели, я закрыл глаза и побежал.

В овраге наступил на девушку и парня. Завизжали, заскакали вокруг меня... По голое звенели тумачи...

Щапин встает всех раньше и раскладывает на постели пасьянс.

— Умру я в нынешнем году. В пасьянс я не верю, но странно: третий день одно и то же получается...

Рядом со мной—кузнец. Дух от него тяжелый. Я усердно прошу:

— Григорий Егорыч, расскажи, как ты женился!

— А-а, женился? Вот, значит, хозяин дает мне расчет...

Так каждый день: заложит Григорий Егорыч очки за ухо и понесет до самого чаю:

— Теща, гляжу, не баба, а царь всем бабам. Что ж, говорю, сватать, так сватать! А тут пришли трепачи-огородники...

Григория Егорыча я ни разу не видел без дела: всегда у него в руках какое-нибудь мастерство. Прибьет к двери осиную ручку и скажет: „какую бы можно резьбу положить!“

Сам он—хитрый. Вдоль расколотого очка замазкой при-  
тронут; куда ни поглядит—все ему чудно кажется.

— Это ничего, что темно, поменьше скорбей видно... А женился-то я на масляной неделе...

Спустил ноги с кровати, и прямо в опорки:

— Ну, что же, пойдем за целебными травами?

— Пойдем.

В Оленьей роще дым, и в этом дыму закутано солнце.

— Сквозь очки ничего не вижу. Отчего же дым?

— Торфяные болота горят.

— Далеко?

— Верст за десять.

Сквозь дымный туман Григорий Егорыч кажется высокой тенью, и весь он тонкий, как газетная выкройка. В кустах хлопают крылья, но ничего не видать. Гарью несет на Сокольники, солнце огромным столбом закрыло деревья.

— Григорий Егорыч, ты где?

— Смолу собираю...

На лугу белеет пятнистый теленок, и в тумане он похож на молодого леопарда. Я подтянул его к себе за уши—телячья кротость тронула сердце. Глаза—две черносливины, слезятся. Меня охватывает грусть. Теплота его шеи согревает мои руки. Он уперся лбом в рябину и замычал. Надел я ему по листочку на рожки и попрощался.

Деревья замутились, налились белым соком, как будто облака пригнулись к земле, и в них вращается туманное солнце. На даче звонят в чугунную доску.

— Григорий Егорыч, на обед стучат!—голос, как цвет, осыпался в воздухе, и никто не отозвался.

На даче застаю Щапина в постели; его голова обвязана полетенцем.

— Иван Николаевич, обедать!

— Нет уж, вы идите, пообедайте, я помирать останусь... Странная дача, очень странная дача! Всегда мертвецы снятся, а по окну саван колыхается...

— Но это дым!

Пока я достаю хлеб, он спешно срисовывает потолок:

— Смотрите, смотрите, портрет моей жены!

— Там же ничего нет, бесформенное пятно, зачем вы себя обманываете?

— Но ведь я душевно-больной...— он тупо оглядел окружающее, потом накрылся одеялом и заплакал...

Вечером он лег под автомобиль.

## V.

Пошли мы с Марусей на каруселях кататься. Висит она на мне, как зелень на дереве. Я от карусели и от подсолнухов никогда не отказываюсь.

— Садись-кружись, советская!

Стеклярусы горят ледяными сосульками. Сама на слона села, меня на коня посадила. Кружимся, а пыль от нас парусом.

Две карусели, одна против другой, и похожи они на цветные дожди.

Позвала гармониста и говорит: „Коробочку“ нам, или „Уморилась-уморилась“... а у самой гостинцы в ногах. Трогаемся под барабан.

Зажмурилась гармошка, как по зеркальной воде поплыла, лады ломаются, звенят, захлебываются, малиновые мехи кудахчут, захлопали петушиными крыльями, потом сорвались да как щелчками посыплются...

— Ох, устала я от тренделя!—а сама на сусальный хобот головушкой.

— Пойдем чай пить!—Пошли, выбрали скатерть почище. Самовар принесли маленький, на ладони посадишь. Только дотронулась Маруся до свертка, — вся потускнела, гляжу на нее и чувю: словно попадья какая, каждый ломоть оговорит и положит.

Ситный то какой белый, а вот черная икра, детям выдавали...

Подморгнула мне: понимай, мол... Так меня на кусочки и разобрало. Тут и сыр, и масло, конфеточки трех сортов с портретом Ленина.

— Детям в колонии хорошо дают!

— Детям-то дают, а вот зачем вам дали...

У Маруси улыбка некрасивая, по лицу червем бежит:

— Больно ты, парень, нехорош, на меня досаду гонишь...

Сказала это она, и нелезут в меня ни пирог, ни пряники. Вокруг нас нарастает толпа, голодная, завистливая, насыщается

глазами, вздыхает. Дети-оборвыши выстроились в очередь. Маруся козыряет им по советской бумажке. Изможденные женщины не вярят своим глазам, следят за каждым проглоченным куском, уныло всплескивают руками:

— Батюшки, где же они это взяли? Люди досыта черного хлеба не едят!..

Мужчины—те равнодушной: они советскую власть за бока.

— Гляди, сколько у ней деньжищ-то!..

— Паренек-то с красоткой гуляет, либо тяпнул, либо комиссар...

— Хороша советская власть—чего ж она смотрит?..

Нужно сказать, настроение у меня паршивое. А Маруся пристаёт:

— Яблочко скушай, там у меня еще селедки лежат, я не стала их развязывать...

— Ты бы и это со стола собрала.

— А кого мы боимся? что хочу, то и верчу! Эх, не лихой ты парень, распугал бы всех!

Толпу пробивает цыганка. Ее пестрый наряд, заплетенные в косы полтинники отвлекли от нас внимание. Под линючей шалью колода карт. Положила на стол пиковый туз, а на него ручное зеркальце.

— Погадай-погадай, всю правду скажу: неприятность получишь через марьяжную даму.

Рослый гармонист оттолкнул ее к дереву. Не успел хлопнуть в ладоши—песельники шеренгой стоят, вытянулись по солдатски и не дышат.

— Какую прикажете?

Маруся мечтательно любит на сборчатые поддевки. На всех русские картузы без единого узора.

— Спойте: „Желала б всех я ненавидеть“.

Гармонист подкрутил кучерские усы и, прежде чем раскрыть двухрядку, минуты две приосанивался. Песня пошла со второго маху: „Минута горести настала“...

Запелало одет хуже всех, в казинетовом пиджачке; когда поет, животом опирается на палку, и все это по-соловьиному, с закрытыми глазами. Под конец Маруся всплакнула, так он сердечно передал песню. Вдруг плясун сбросил поддевку и вышел на середину в серебряной рубахе.

„Эх, раз, што ли.

Да еще ра-аз, што ли!

Веселитесь, цыгане, пока табор в поле...“

Лаковые сапожки собраны в гармошку, дробью дрожат по земле.

Тряхнул парчевой рубахой, руки—живые кастаньеты—распластал над столом по-лебединому, затрепетал плечами... Лицо серьезное, неподвижное—в профиль держит;

В публике—давка:

— Кто гуляет?

— Конечно, не наш брат, а какое-нибудь начальство. Нагуляется, потом на митинг поедет, а ты ему в ладушки играй... У него песня одна: „Товарищи, потерпи,—немного осталось“...

Маруся сорит деньгами направо и налево, песельникам бутерброды наделала, а гармонисту—особенный. Девка, вижу, в ярь вошла.

— А ну-ка,—„Позарастили стежки-дорожки“!

— Маруся, может, эту музыку пора прикончить?..

— Вот еще... живи-живи да не топни!

Рыжая коса по спине развилась на четыре, лицо, как анисовое яблоко. Сверху воробей на нас чирикнул и—в кустики. Толпа заволновалась и повернула к нам спиной. Я прыгнул на скамейку—в толпе милиция. Маруся кинула мне кошелек:

— Расплатись! Если меня арестуют, с места полечу...—и тут же исчезла в толпе. Милиционеры подозрительно оглядели мои закуски, но кивают на меня одобрительно.

— Эх, орелик...

Старший милиционер—портфель на пирог.

— Что подельваешь?

— Что делаю? Дунай вожу.

— Ваши документы!

— Пожалуйте-с, два—с портретом, полдюжины—так...

Публика повеселела, заиграло любопытство, а у некоторых и злорадство:

— Догулялся, молодчик!..

Документы мне возвратили.

— Где ты все это взял?

— На Сухаревке купил.

Спросил, сколько зарабатываю, и почесал затылок.

— Тут у тебя и икра черная, и белый каравай, и чорт знает, что...

— От дедушки наследство досталось, вот и прогуливаю.

На прыщеватом лице старшего лукавые морщинки.

— Заплати плясунам и самоварщице.

Глянул я в кошель,—так и ахнул: денег пальцем не провернешь.

Гармонист протянул мне руку и на прощанье утешил:

— Удалой долго не думает!

Милиционер махнул по столу рукавом.

— Забирай свои монатки, пойдем!

— Никуда я не пойду.

— Не пойдешь—так потащим...

— А за что вы меня арестовываете? Что я—бандит, спешу кулянт? Ведите меня в железнодорожную санаторию, вы не имеете права больных арестовывать. Что я, преступление сделал? Увидали у меня на столе кусок белого хлеба...

— Товарищ, не кричите, ведь вас не бьют...

Смотрю — милиция осела. Старший пошептался с подчиненными, потом они, как коршуны, налетели на толпу:

— Разойдись!

— Разойдись, по-человечески просим!..

Вокруг меня — тишина и спокойствие. Старшие начальники ушли, остался один младший. Он застенчиво приложил к губам палец и сделал мне знак:

— Нельзя ли ситничка маленько?..

Режу ему половину каравая, сыплю конфекты, заворачиваю сыр и масло. Расстались мы с ним в роще, записали в книжках имена друг друга и обещались ходить в гости.

## VI.

У нас сразу два события: Иван Николаич бросился под грузовик. Подняли его мертвым. Сейчас он лежит в сарае и покрыт простыней. Я положил ему на руки синие колокольчики. Теща смотрителя зданий читает над ним псалтырь. Мне очень понравилось одно место: „Язык мой — трость скорописца“. Вместо свечи в изголовье горит лампа. Кузнец выпросил у сторожа косу, долго отбивал ее на камне, а теперь она визжит в его руках и полна водяного блеска. Накосим травы и положим в гроб. В нашей комнате стало пустынно, будто всю мебель вынесли на улицу.

Солнце на закате, как кусочки расколотого кирпича. Ленка ушла в сосны, а в соснах — лиловые сумерки. Сегодня ее первый выход. Рядом с ней — Васильев. Кругом — тишина, и оба они молчаливы. Он одергивает белую рубаху и пояс с ремнями молча и замкнуто. Когда совсем свечерело, он посадил ее на лавочку, ходил сзади нее и собирал в картуз еловые шишки. Над Яузой — выстрел, глухой и одинокий. Я люблю маленькую Язу: фабрики не работают, и вода в ней со свинцовой гладью. На высоком берегу — лечебница для душевно-больных. Когда я прохожу мимо, мне становится жутко. Тут же, напротив, кладбище автомобилей: цилиндры сняты и обросли крапивой. На мотоциклетной коляске катаются дети, трубят в кулак и устраивают крушение. На нашей стороне — огород Сокольнического Совета, среди голубой капусты — грозные объявления против воров.

Мое внимание заинтересовали три неподвижных фигуры, двое мужчин и одна женщина. Когда я подошел к ним поближе, они расступились — и приняли меня в круг. Гляжу — на кочанах капусты лежит убитый теленок, на белой шерсти — черные крапинки, крови не видно, — и вспомнил я белое утро, когда он был похож на молодого леопарда. Сторож постучал ему берданкой по голове, потер теленку глаза.

— Остыл.



Хозяева теленка—одноглазая крючконосая старуха и однорукый солдат. Волосы у старухи вылезли клоками. Она плюнула сторожу на сапог, а тот старательно уложил теленка на плечо инвалида и скомандовал:

— Валяй!

Я сорвал капустный лопух с едва заметной капелькой крови и протянул веселой луне. Пахло испарениями трав и скошенным сеном.

На террасе я застал оживленные разговоры про детскую колонию: Марусю поймали с маслом, а в сундуке нашли пуд сахара. Меня бы это не тронуло, но когда повели ее в милицию, дети плясали перед ней и кричали: „воровка!“.. Наша санатория распахнула все окна и провожает ее криком. И мне покрикивают, что я по ней скучаю... на кого ж она меня покидает... Особенно надрывается молодая уборщица; она положительно захлебывается от восторга. Я одергиваю ее от окна, кидаю на плетеный диванчик. Ее красная косынка лежит под моей ногой.

— Отпусти, увидят!

Достал из кармана капустный лопух с капелькой крови и засунул ей в рот... Кузнец в крике участия не принял. Он лежит на койке, лоб над очками выпуклый, и по глазам видно, что он о чем-то думает.

— Знаешь, что я тебе скажу: пошли всех куда подальше, а сам не ругайся. Твоя пора самая опасная: молодой парень, как бабочка, любит на огне порхать. Я в твои годы тоже был таким дураком... Нужно найти свое русло, и по этому одному руслу нужно себя тянуть. Вот ты сейчас кашу заварил, и оправданья тебе никакого, а если б было русло, ты знал бы, что делаешь. Жизнь, братец мой, штука дикая, и с ней нужно обходиться ласково. Но ты радуйся: это все хорошо, это опыт в твоей жизни...

— Чай пить хочешь?

— Не хочу, гулять пойду.

Брожу по лесу, разговариваю со звездами, делаю им непонятные знаки. Ночь в лесу—светло-зеленая. Полизал языком сосновую кору, во рту стало вязко и запахло смолой. И тут же подумал: мои прародители были очень красивыми животными, и мясо их пахло парным молоком. Потом я разулся, сбросил с себя одежду и нагишом бегал по траве, кувыркался и танцевал собственный танец. Усиленно чего-то жду, и, как молодой олень трубит, созывая самок, гляжу на луну и пою незнакомые слова. Потом ору и слушаю свое эхо:

— Эй, люди, кто не боится, идите на меня драться!..

В рощу принесли мне валерьяновых капель и уговорили одеться.. В доме было тяжело, полежал я на постели с полчаса и выпрыгнул в окно. В сарае за лампой сидели женщины. Мне очень хочется повидать Ленку, но ее темное окно раскрыто

настежь. Я осторожно иду по кустарникам. Прошлогодний лист шуршит под ногой. Я останавливаюсь лицом к ее окну и сравниваю себя с зачарованным принцем. (Такой есть балет—я видел его в кинематографе.)

— Т-сс... — останавливает дежурная сестра—вы идете к Лене? Она письмо для вас оставила.

— А сама где?

— В Москву уехала, подождите, сейчас принесу.

Золотые шорохи прошлогодних листьев встревожили тещу. Она высунулась из сарая и зевнула на луну.

— Скоро будут филины кричать... что не спите?

— Сейчас лягу...

Письмо я прочел в сарае. На чистом листе карандашом было написано только одно слово: „Сволочь“...

После этого мне стало легче, и сразу на сон потянуло.

Кузнец ворочался с боку на бок, не спал.

— Григорий Егорыч, не спишь?

— Жарко очень, от природы какая-то испарина идет, да комары проклятые надоели... Отдыхающих прибавляется, из депо два промывальщика пришли.

— Григорий Егорыч, я тут, видно, не ко двору пришелся...

— Вот оно и то-то... Знаешь что, я тебе откровенно скажу, ругаться не будешь?

— Нет.

— Вся твоя беда—государственности в тебе нет. Я вот против тебя старик, а знаю, что делается в Германии, в Америке... Ну, скажи, какой главный министр в Англии? Не знаешь!

Я называю ряд имен—все они англичане, но не главные.

— Вот я и говорю тебе: не по такой ты линии пошел. Ну, занялся бабами—бабы они и будут, а ты головой должен вертеть на весь свет. Посмотрел я сегодня—один непорядок, и расстроился: подходят к газетчику покупатели и по сто штук берут сразу. Куда вам, говорю, столько?—Комнату клеить... Я позвал милиционера и отправил... Ну, вот... уже светать начинает...

Разговор кончился. Я собрал свои вещи в мешок,—корки хлеба, остатки сахарного песка, кусок мыла, и выскочил в окно. Вслед за мной полетели фуражка, палка и сам Григорий Егорыч.

— Уж видно, я тебя провожу. В Москве будь потверже: к каждому делу передом подходи...

Шли молча. Каждый думал о своем. Холодная тишина и короткое верещанье птиц предсказывали ненастье. На дорожках чертежи тросточек и вялые вчерашние следы. Люди, как птицы: прилетают сюда вечером и скрываются на сутки. Кузнец обрывает молчанье:

— А свежо...

На самом деле, небо затянуто белой пленкой.

— Может, когда-нибудь все поймешь, постарше будешь— ума накопится.

Я поспешил успокоить:

— Конечно, конечно, коротко и ясно.

Он подвел свой голос, как в тон песни:

— Правильно и остроконечно... А знаешь, мне твоя баба самогоночки принесла.

— Какая баба?

— Маруся, она приняла, что я твой отец... Доставай, там у тебя хлеб есть. Вот, братец ты мой, и я с тобой в паскудном деле замешан...

Хоть я и схватился за голову, а половину бутыли отсадил. Кузнец, чтоб удобнее пить, горлышко отколол.

— Ах, сын—сукин сын!..

Утро мы встретили песней:

„Измученный, истерзанный,  
Наш брат мастеровой  
Идет, как тень загорбня,  
С работы трудовой“...

Пели мы, взявшись за руки и раскачиваясь на обе стороны.

— Знаешь, я этой песни не люблю—больно тоски в ней много. Вот любимая:

„Тран-сфаль, Тран-с-фа-ль, страна моя,  
Горишь ты вся в огке“...

Подошли к какой-то даче, облокотились на палисадник и хватили плясовую.

„Ай, девочки, комсомолочки!“..

В окне показалась женщина в ночной сорочке, хлопнула рамой и чуть сама не вылетела:

— Нахалы! всех больных разбудили!..

Кузнец спрятался за водосточную трубу. Его глаза сквозь очки ясны, как шарико-подшипники.

## VII.

Лето прожито, и осень пережита. Ломаю ногой сугробы, а тут еще Иванова выручай: по его ноге—предсказателю, сегодня—ненастье, в окне ледяные пальмы, а за ними второй день снега крутятся. Иванов просится:

— Как хошь, выручай... разломило мою ногу—работать не могу. Дежуришь в теплой одежде: правление не отапливается. Я Ленку сменяю, меня Иванов, и колесо оборачивается в трое суток. Ежедневно читаю газеты, и в каждом номере воззвание: „Железнодорожники, подтянись!“ На мостовых—жестокое су-

гробы, морозы крепкие, от дыханья иней валится. У Ленки в волосах серебро: тает в моих руках. и волос пушистый-пушистый. Запала ей в голову мысль, что я благородный человек, а отсюда у меня на уме всякие неэтичности. Впрочем, теперь такое время, когда каждый мешанин хвалится своей необразованностью, а я—наоборот,—люблю щегольнуть иностранным словом: блокада, империализм... и нашим поденщикам по вкусу не придется. Смееу сказать, ихние песни можно понимать двояко:

„Меня, милый, не ругай,  
Что хожу я грязная,  
Ильягогия у вас  
Мелкобуржуазная“ ..

Если грязь от собственной неопрятности, то это очень плохо. А вот Леночка, как стала курьершей — отойли-подвинься... Если спросите, чем она занимается, она скажет: секретарша. Такая мода: все в секретари лезут и в председатели. Я и то в местком хотел попасть—враги мои провалили. А врагов я нажил на мороженой капусте. Попросили запереть ее на ночь в канцелярию. Не знаю, уж как я не подумал—и сложил в комнату, знаменитую крысами. Вынесли оттуда по утру полторы кочерыжки.

С Леночкой дела наладились, только никак не сговоримся, да и старше она на два года. А впрочем, лучше этой не найти: есть в ней что-то такое, чего в других нет...

Из депеш НКПС узнаю дорожные новости, например: на нашей дороге появились „блуждающие вагоны“, „спящие поезда“. Еще случай: на 73-й версте машинист предложил пассажирам „разгромить заборы“, или—„заморозить паровоз“. От недоедания люди ходят сонные. На линии каждый день несчастные случаи. Я сегодня видел сцепщика, раздавленного буферами. Он умер на паровозной площадке. Мрет народу много, но зато женщины и родят! Родят и на извозчиках, и в трамвае, а одна машинистка даже разрешилась в канцелярии комиссара дорог.

— Чудны дела твоя, господи...—сказал отец дьякон, который служит у нас переплетчиком.

Однажды была получена странная депеша: „На станции Погорельцы, по случаю закрытия рабочей столовки, свинья, питавшаяся остатками кухни, три дня не кормлена; просят немедленно дать распоряжение“.

На линии бушует снежная метель, движение приостановлено. Мобилизованы отряды для очистки снега, от нас поехала Ленка. Теплушки без печей и огня. Поражает жуткая тишина. Под окнами ни одного гудка, и все зданья погружены в морозную темноту. Чувствуешь, словно какое-то кольцо обложило нас со всех сторон и давит, и с каждым днем оно суживается. Заседания ячейки каждый раз оканчиваются Интерна-

ционалом. Для меня это—знак бежать за кипятком. Я теперь занимаю три должности: курьера, дежурного агента и заведующего регистрацией, в моем распоряжении четыре барышни, беспомощные, как цыплята. Я для них справочник всех адресатов, условных знаков и лиц. Мне одновременно приходится и быть над ними начальником, и убирать за ними мусор.

Телефонограммы отчаянно однообразны: „Паровозы замерзают, сидим без топлива“. Васильев звонит в отдел заготовок: „Дров давай!“—бросает трубку и плюется:

— Завтра обещают прислать отношение...

Еще депеша: свинья четыре дня не ела... Чугунная дрожь охватывает линию. Паровозы загнаны в депо, а над ними—плакат: „Бей по разрухе!“.. В рабочем клубе мы бываем редко, больше для поднятия своего настроения. Сегодня—массовый прием в партию: люди холодные, голодные, в простуженном помещении, оттаивают своим дыханием заиндевевшие стены и забывают все свои невзгоды. Здесь можно найти даже тех, которые делают зажигалки.

По дороге из клуба я споткнулся о дохлую лошадь. Едва удержался за ее ногу, которая торчала из сугроба. В исполкоме меня встретил Васильев. Теперь мы живем с ним на дружеской ноге и шпилек друг другу не вставляем. Он держал в руках депешу и читал ее при мне: отряд, мобилизованный на чистку путей, застрял в снегах. Васильев сел на ступеньки и сжал голову руками:

— Ой-ой ой... ведь они все померзнут! В сапогах, без рукавиц, а мы их послали...

Тут же принесли еще депешу: „свинья околела“.

Через двое суток метели стихли. По водосточным трубам застучали капли. Небо серое и туманное. Привезли первую партию замерзших. Положили их в вагонных мастерских. Мы с Васильевым идем на похороны. В мастерских расставлены елочки, дорожки посыпаны песком, гроба обиты пунцовым ситцем. Лица погибших торжественно-спокойны, они помаленьку оттаивают, и от них идет испарина. На стене знамена: „Пролетарият вас не забудет“... Я сжал руку Васильеву и веду его под лавровое дерево:

— Вот она лежит.

У Леночки руки вытянуты прямо, лицо синее-синее и слегка розовато. У ног стоит ее отец, высокий, чернобородый, смотрит куда-то поверх гроба, и видать, как трудно ему удержаться от слез. Тяжесть налегла на мою грудь, Леночкин мороз передается мне, я весь трясусь: ву-у-у!... Вынос начался без речей: все было понятно. Поднялись женские и детские вопли: „папа, папа!“... А один малыш ухватился за край бахромы и не хотел оторваться. Леночкин гроб заколачивал Васильев, я держал крышку. Ее отец был безучастен: все время что-то глотал и стоял, молча. На окраине мы встретили группу рабочих, шли

они в центр и несли плакат: „Умрем, но не сдадимся“. Как я дошел до кладбища—не помню. Знаю только—снег был мягкий, и в моей жизни открылась первая роковая страница.. На другой день я повесил ее портрет в коридоре управления над тем самым диваном, где она любила сидеть...

Теперь исполкома нет: пришел спец, и на его двери прибитая дощечка: „Кабинет управляющего дорогой“.

Когда он мне звонит, я спрашиваю:

— Что вам, гражданин, угодно?

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ.

---

# Сквозь строй.

*С. Под'ячев.*

**В**есна. Праздник. Третий день Пасхи. Погода жаркая, точно в июне. В избе душно—дышать нечем. В переднем углу перед „богами“ горят лампадки. Три в ряд. На столе, покрытом белой скатертью, лежит хлеб, и на нем солонка с солью. Под столом охапка сена, а около стола, сбоку на скамейках, две кадушки—одна с зерном ржи, другая—с овсом. На эти кадушки будут поставлены иконы, которые скоро, немного раньше прихода попа, принесут сюда с пением „Христос воскрес из мертвых“ так называемые „покрестники“—мальчишки, таскающие эти иконы, крест и фонарь в продолжение целой недели по всему приходу, из избы в избу.

Моя мать, жена и детишки, одетые по-праздничному, ждут „святыню“, а я, сознательный человек, считающий себя коммунистом, гляжу на эту картину, как какой-то Иванушка-дурачек, и... и терплю.

---

Не желая попадаться попу на глаза, ушел в поле посмотреть озимь и долго ходил один, чувствуя, как какое-то тихое очарование плыло ото всего, наполняя мою душу волнующей, сладкой радостью.

Сел на берегу овражка и, окидывая взглядом родные поля и вдыхая запах земли, круживший голову, как вино, вспомнил свою жизнь и жизнь близких мне людей, и все то, что было когда-то, и далекое детство, и что было после, и все это плыло передо мной, развевалось, как лента на экране, и иное манило и звало к себе снова, а иное отталкивало и мучительно сжимало сердце тоской и каким-то особенным стыдом.

Из села доносился непрерывный праздничный звон, а над зеленым полем, дышавшим весенним бодрящим запахом, облитым солнечным теплом, высоко взвиваясь кверху и трепеща крылышками, торпливо-радостно заливались жаворонки.

Долго сидел так, и не хотелось уходить, и думал, глядя на убегающую, зовущую и манящую к себе даль, бросить деревню с ее темнотой, дикой злобой и снова, как это было прежде, уйти в Москву, где жил я до пятого года и после, до революции, на чугунно-литейном заводе. Но мысль эта сейчас же оставила

меня, и я, стыдясь ее, стыдясь своей слабости, обернулся и, посмотрев на свою деревню, избы которой чернели вдали, подумал: много еще темноты в тебе, много нужды, грязи и злобы, но все-таки ты уже не та, что была прежде, ты просыпаешься после долгого сна, и, как вот эта озимь, и как вся природа, проснувшаяся и ожившая весной, оживешь и ты и будешь так же прекрасна и радостна, как она.

Пришел домой и застал в избе одну только старшую девочку. Оказалось, что без меня был поп и служил молебен. Мать моя, „отстояв“ молебен и проводив попа, ушла в другую деревню на ночь в гости, а жена тоже вышла куда-то к соседям.

Я сел с краю стола, прямо против висевших и стоявших в переднем углу богов. Три лампадки так же, как и давеча, когда я ушел из избы, горели перед ними, и запах какого-то „деревянного“ масла, горевшего в них, слышен был по всей избе.

Я смотрел на этих богов, и вот мне приходит мысль, что иконы-то эти, собственно говоря, висят здесь *для меня*, ибо если я сознательный человек, коммунист, терплю их, то выходит, что они мне нужны, и я допускаю молчаливое попустительство. Мысль эта, сама по себе простая, поразила меня.

— Ну, а что скажет мать, жена, если я уничтожу иконы?— задал я себе вопрос и сейчас же услышал, что где-то там, на самом дне моей души, какой-то голос шепчет: „а-а, боишься! Что скажет мать, жена?! Нет, голубчик, глубоко еще сидит в тебе мещанская идеология! Зачем сваливать на мать и жену? При чем тут мать и жена? Значит, и ты такой же, как и они?“.

Мне стало стыдно самого себя, и вот я, точно подталкиваемый кем-то, сорвался с места, потушил лампадки, сбегал в чулан за мешками и начал, на глазах удивленной девочки, стаскивать со стены и из киотки иконы и совать их в мешок.

— Тятя, тятя, что ты делаешь?!— услышал я позади себя плачущий, жалобный голос,— тятенька, грех! Господь накажет!!

Я не слушал. Я рвал со стены эти украшенные ризами доски, которые знакомы мне были с самого детства, перед которыми молился когда-то и я сам, и молились до меня и дед, и прадед, отец, мать, и торопливо совал их в мешок.

— Тятя, тятя, что ты делаешь?— опять заскулила девочка,— я мамке пойду скажу.

Я схватил мешок, выскочил за дверь, прошел через двор в заднюю калитку и, выйдя на усадьбу, направился на тот конец ее, к стоявшему там старому, еще построенному моим дедом, овину.

Здесь тоже висела икона, повешенная еще покойным дедом. Я заглянул в овин, думая прихватить кстати уж и эту икону.



Но увидав ее, старую, облупившуюся, без всякого признака какого-нибудь на ней „лика“, доску, и вспомнив, как покойный дед, измучившийся, задавленный нуждой старик, глядел на нее и крестился перед работой, я не решился снять ее и уничтожить.

С мучительной тоской припоминая жалкую фигуру деда, пошел я поскорее прочь от овина, вниз под гору, в глубокий, заросший ольшняком, овраг.

Я вытряхнул из мешка иконы и об лежавший здесь на берегу ручья большой камень переколол их, и часть расколотых досок, которые помельче, бросил в ручей, а другую часть подсунул под размытый водой берег и затоптал ногами так, чтобы их не было видно.

Сделав так, сел на берегу, свернул покурить и сидел, задумавшись, слушая, как журчит ручей.

— Михайло, ау! Михайло, где ты?!— услышал я раздавшийся на верху оврага голос жены.

Я вскочил, отошел подальше от места, где уничтожил иконы, и откликнулся.

Треща сучьями, идя на мой голос, жена вышла ко мне, и я сразу понял, в чем дело, взглянув на ее возбужденное, озлобленное лицо.

---

С каким-то собачьим воем, брызгая слюной из перекошенного от злости рта, с ругательством набросилась она на меня.

— Дьявол, богоотступник, сволочь, куда девал иконы, а?! И видя, что я молчу, завопила.

— Мое благословенье где? Отец хресный благословил казанския божи матери, куда дел? Отдай, сволочь, отдай! Свечи венчальные где? У-у-у, разбойник, нехристь, чтоб твоя утроба лопнула, дай господи! Что я, с тобой живя, вижу-то? На кой ты мне такой-то! Все люди, как люди, а ты кто такой! Думаешь, умен ты? Как жа, умен! Люди смеются. На улицу через тебя выгити совестно стало! Детям-то от тебя какой пример взять? Чему ты их научишь-то? Татарин!

Не знаю, что сделалось со мной. Я сразу стал не я, а кто-то другой, переполнившийся злобой. Помню, как она извивалась, визжала, кричала „караул“, стараясь увернуться от кулаков, которыми я бил ее куда попало.

---

Она вырвалась и, ругая, проклиная, называя меня дьяволом, богоотступником, сволочью, нехристом, убежала.

Я постоял, подождал чего-то и, отойдя шагов на десять, опустил на траву, ткнулся вниз ничком и, стыдно говорить, заплакал.

---

Стало смеркаться и потянуло от ручья и от земли холодной сыростью, когда я поднялся. Я не пошел домой в деревню,

а направился вдоль оврага, против течения ручья вверх, думая зайти переночевать и отдохнуть к знакомому леснику, сторожу Маркелычу.

Я прошел весь овраг и там, где мне надо было выбирать из него, свернул влево в гору на широкую, немного покатую на южную сторону, поляну, окруженную с трех сторон лесом, мелким березняком. На самом возвышенном месте этой поляны стояла ткнувшаяся вперед избенка-сторожка, где проживал Маркелыч.

Внизу в овраге, где я только что проходил, было сыро и, как мне казалось, темно, а здесь, наверху, вся поляна и березняк, окружавший ее, все было освещено лучами низко спустившегося за лес и точно прятавшегося и сверкавшего там между частых стволов березняка, как большой огненный глаз, солнца.

Со всех сторон, и вблизи с опушек леса, и дальше, несся разноголосый птичий гомон.

Подходя к сторожке, я увидел Маркелыча. Он сидел под окнами на завалинке, и положив на колени какую-то большую книгу, читал ее, низко наклонив седую голову.

Он так углубился в чтение, что не заметил и не слышал, как я подошел к нему.

— Здравствуй, Маркелыч!—громко сказал я.

Он вздрогнул, быстро поднял голову, посмотрел на меня.

— Тьфу ты!—плюнул он,—испугал, дьявол, до смерти! Что тебя носит в неуказанное время? Подкрался, как под тетерева. Что скажешь? Ишь ты, аль у тебя праздника нет,—дома-то не сидится.

И сейчас же, спохватившись и вспомнив что-то, добавил:

— Да, правда, ведь, я и забыл, у тебя праздника нету. Ты, ведь, по-новому, по-нонешнему, не так, как все добрые люди делают, а все шиворот навыворот.

Я промолчал и сел рядом с ним на завалинку.

Он покосился на меня выпуклыми, большими, какими-то, точно налитыми молоком, глазами и сказал:

— Что ты какой чудной, аль что сделалось?

— Навестить вот тебя пришел,—не отвечая на его вопрос, сказал я.

— Та-а-к! Ой, парень, случилось что, говори, а?

Тогда, чувствуя, как к моему горлу подкатывается какой-то мучительный комок и душит, торопясь и точно желая скорее избавиться от него, я начал говорить.

Когда я кончил, старик какими-то еще больше выкатившимися перепуганными глазами глядел на меня.

— Неужли же взаправду расколлот иконы-то да побросал?!—с дрожью в голосе спросил он.

И, когда я утвердительно кивнул головой, он воскликнул:

— Ну, тебе, значит, теперь в деревне не жить, чужой ты в ней, уходить надо; пока не убили. Напрасно ты сделал так!

Нехорошо! Грех людей обижать! Ты коли б умен-то был, не сделал бы так. Мать-то ты как обидел, подумай-ка! Может, она через этот твой поступок во сыру землю пойтить должна. Шутка ли: иконы расколел, а они для нее вся отрада. Ты говоришь, тебе они не нужны, доски они, а ей они нужны. Как тут быть? Гляди сюда. Вот рука моя. Вот пять пальцев на ней, а я вот говорю, что пять пальцев не нужны, отрубить надо один, чтобы не мешался. У тебя тоже пять. Я тебе и говорю: не надо пяти, надо четыре. А ты меня не слушаешь. Говоришь: „Я всю жизнь с пятью прожил“. Ладно. А я хочу по-своему. Как тут быть? Как тебя, дурака, научить, в свою веру ввести? Охотой ты не хочешь. Слов моих не слушаешь. Ладно! погоди! Выучу я тебя! Уснул ты, а я взял топор, да у тебя, у сонного,—раз!—и отрубил палец. Проснулся ты, закричал, заругался, заплакал, а я тебе и говорю: дура, чего орешь, по-твоему, тебе нужен палец, а по-моему—он тебе не нужен. Живи по-моему. Что на это скажешь, а? Полюбится тебе эдак, по-моему-то? То-то вот и оно-то! Да нешто можно эдак-то делать, как ты-то, силком-то? Мать-старуху, семьдесят лет, может, молилась на иконы-то эти, огорчил, жену озлобил, в деревне тебе житья не будет. Кому какую пользу сделал? Нешто так делают дело? Эх ты, голова, горе луковое! Да ты, коли умен, то научить должен, раз'яснить, не топором колоть, а языком. Ежели вы эдак, умные головы, делать будете, толку мало.

В избе было жарко, и свет через два маленьких оконца тускло проникал в нее. Пахло в избе какой-то сушеной, вероятно, лекарственной травой, а весь пол от порога к переднему углу, вероятно, ради праздника, устлан был свежей, еще не успевшей измяться, ржаной соломой.

Я прошел вперед и сел к окошку.

Старик Маркелыч положил книжку на скамью и занялся самоваром.

— А я,—говорил он, отщипывая ножом от полена лучину,—на барской двор ходил нонче („барским двором“ он, да и не один он, а и все „православные“ граждане в моей деревне по старой привычке называли нынешний совхоз, а прежде бывшее княжеское имение)—к садовнику, к Мигрий Митричу. Плохо живет, сердешный! Жалко его, ей-богу! Какое лицо прежде у князя был, первый человек, а теперь снизили его, живет за ради Христа в каморке. Стар стал. Слепнет. Господина все своего ждет, князя. „Не может,—говорит,—быть того, Маркелыч, чтобы не явился он, как Христос ученикам своим. Явится, говорит, установит порядок“. Этим и жив только, а то бы давно помер. Ну, я его утешил, обнадежил: придет, мол. Книжку вон у него взял, принес почитать от скуки ради. Старинная книжка. Сказывал он: „княжеская, говорит, старинная, ценная вещь“. По-читал я давеча, как тебе притти; чудно мне показалось.

— А как называется? — спросил я.

— Эна она. Возьми, погляди.

Я взял со скамейки большого формата, в желтом, изъеденном молью, переплете, книгу, раскрыл ее и прочел вслух заглавие, напечатанное какими-то старинными буквами: „Записка путешествия генерала фельдмаршала российских войск, тайного советника и кавалера мальтийского, святого апостола Андрея, Белого Орла и прусского ордена, графа Бориса Петровича Шереметева, в тогдашние времена бывшего ближнего боярина и наместника Вятского, в европейские государства: в Краков, в Вену, в Венецию, в Рим и на Мальтийский остров“.

— Что же ты тут читал? — спросил я, разглядывая переплет. — Чего тебе чудно в ней показалось?

— А вот, гляди, — бросив полено и подойдя ко мне, сказал он. — Эва, вот тут читай. Пропечатано, как этот самый граф в граде Риме по церквам ходил и что там видел. Хы, чудно, голова! Вот бы ты жене своей с матерью почитал. Читай ка!

Он указал мне место, где читать, и я прочел вслух.

„Марта 23 числа приезжал к боярину той же папежский дворецкий с тремя папежскими каретами и боярин с братьями ездил в церковь святых апостолов Петра и Павла, где их мощи почивают; и тут над мощами их слушал обедню, по совершении же той обедни казали боярину копие, которым на кресте прободен бысть господь и бог наш; потом казали образ спасителей, который сам господь бог вообразил на полотне или плате, который плат поднесла ему утертиса святая мученица Вероника под час вольного его страдания и несения креста на Голгофу; напоследи же казали великую часть древа животоворящего креста и вся сия у них зело в великом благоговении и почитании.“

„Марта 24 дня ездили в тех же каретах в церковь святого Иоанна Предтечи, в которой сподобились видеть кровь спасителя нашего бога в сосуде весьма украшенном; сударь, иже бе на главе Христове во гробе; лентион, им же бе препоясан во время умовения ног святым своим учеником и апостолом; ризы часть пресвятыя богородицы; плат, который пресвятая богородица носила на главе своей; главы святых апостол Петра и Павла. В той же церкви мощи премногие, часть древа животоворящего креста; глава пророка Захарии, отца предтечева; прах телесе сожженного святого Иоанна Предтечи и многих святых мощи“.

Я перестал читать и взглянул на Маркелыча, желая увидать на его лице, как он относится к этому.

Он кривил рот усмешкой и, подмигнув мне левым глазом, сказал:

— Вали, вали. Дальше не то еще будет.

„Вышед из той церкви, — снова начал я, — по правую сторону у другой церкви спасовой приделана лестница мармо-

ровая, которая привезена из Иерусалима, по которой господь бог веден от Каиафы к Пилату на осуждение смерти, осужден и биен, от Пилата по той же лестнице веден на распятие, кровь его капала на той лестнице, которая видна и до сего дня, над которою кровию ныне учинены кресты и ходят непрестанно на ту лестницу ползающие на коленях; на всякой же ступеньке говорят: „отче наш“.

„Возшедше на ту лестницу в церкви образ господя нашего Иисуса Христа, который писан Лукою-евангелистом с самые ипостаси христовой во время бытия его на земле; и стоял той образ в доме пресвятыя богородицы, которой образ некогда уражен камнем, отчего истече кровь, которая и до днесь видна на пресвятом лице его.

„В той же церкви есть ковчег, а в нем положены многие мощи святых младенцев, избивенных во Вифлееме, и иных многих святых. Также одежды святых апостол Петра и Павла и Стефана архидиакона. Там же ризы сделаны от ангелов святому Петру-апостолу.

„Также на кресте устроено и положено часть пупа христовя и часть обрезания и еще часть башмаков христовых. Еще не малая часть животворящего древа и часть хлеба тайныя вечери и двенадцать зерен чечевицы и часть великая губы, которою оцтем и желчию напоен бысть господь наш, и часть трости, которую поругаяся воины дали в руке господу нашему, и часть смоковницы Закхееви. Также доска, на которой сидел господь бог, умывая ученикам ноги. А также сподобились видети ясли, в которых господя нашего пресвятая богородица по рождении положила. Там же пелены, которыми пресвятая богородица повивала сына своего и бога. Тут же мощи святых. Тело святого апостола Матфея, Иеронима, епископа Евафродита, о котором писано в апостоле. Рука Марка евангелиста. Тут же видели главу святого Иоанна Предтечи, положена зело в предразукрашенном кивоте за хрусталем“.

Я отложил книгу, ибо надоело читать, и, чувствуя какую-то особенную душевную гнетущую усталость, опять посмотрел на него. Он тоже глядел на меня и в его глазах я увидел вопрос: „Ну, что?“

— Любопытно,—сказал я, не зная, что больше сказать.—А, ведь верили тоже.

— То-то верили. А ты вот по-своему.

— Да ты про что?—не понимая, спросил я.

— Да все про то, про дело про твое, про твой проступок с иконами-то. Зря сделал. Вот уж верно, что каждый дурак по-своему с ума сходит. Чудак-человек, чего их колоть-то, огорченье-то людям делать, придет время, и иконы не нужны будут. Чудно будет казаться, не плошь, как вот в книге в этой пропечатано, слушать-то про них. На все, друг, время, а эдак то, как ты-то сделал—никого не научишь.

— А как учить-то?—спросил я.

— А уж этого я не знаю,—усмехнувшись, сказал он,—вам вернее знать—как. Ты вот сумел как. Так и делай.

Он пристально поглядел на меня, замолчал и стал собирать на стол чайную посуду.

Спать легли поздно, и я, лежа на полу, долго не мог уснуть, а когда уснул, то проспал немного, ибо, как это я понял после, вскоре же проснулся, разбуженный каким-то шумом. Оказалось, что меня разбудили удары грома разразившейся ночью, никак нежданной и удивительной для такого раннего весеннего времени, грозы.

Маленькие оконца то и дело, точно как будто бы кто-то сидел там за ними и, балуясь, чиркал спичку за спичкой, освещались молнией, а удары грома, сейчас же вслед за каждой вспышкой молнии, догоняя ее, могуче, точно тысяча колес, с ревом и треском катились за ней, сотрясая стены избенки, и, как казалось, сметали с своего пути все, что попадалось им навстречу.

Перепуганный Маркелыч метался по избе, крестился при каждом новом ударе, повторяя: „свят, свят, свят, господь саваох, исполнь небо и земля славы твоя“, и забыв, что у него не закрыта труба, закричал вдруг каким-то жалобным, испугавшим меня, голосом.

— Батюшки, а трубу-то я позабыл закрыть, сиганет в нее стрелой огненной—праху не останется!

Он торопливо полез на печку, испуганно говоря:

— Господи Исуси, и не помню я, чгобы когда в это время гроза была, шестой десяток доживаю, а не помню!

А когда принесшая грозу туча пронеслась, унеся с собой все слабее и слабее раздававшиеся раскаты грома, и, когда в окошках стало бело от начавшегося рассвета, я, попрощавшись с Маркелычем, вышел из сторожки, спустился под гору, перешел овраг, взобрался на гору на ту ее сторону, откуда с горы видна была моя деревня, и то, что увидел я, заставило испуганно вздрогнуть мое сердце и почувствовать, что меня точно кто-то хлестнул или ударил по ногам. Я увидел, что на том месте, где стоял мой овин—овина не было, а чернела какая-то куча, от которой шел, расстилаясь по земле, серый дым.

Подбежав к месту пожарища (теперь я уже ясно видел и понял, что овин сгорел), увидел я, что около разбросанных почерневших обгорелых бревен ходит кругом того места, где стоял овин, моя старуха-мать.

Я подбежал к ней.

— Михайло,—сказала она, как-то по особенному скосив на меня глаза и поправляя на голове платок.—Куда дел иконы?

Я промолчал, не зная, что сказать, ибо знал, что ей известно уже о том, что иконы уничтожены мною.

Видя, что я не отвечаю, она шагнула ко мне и вдруг, плюнув мне в лицо, закричала каким-то хриплым, никогда не слышанным мною раньше, страшным голосом.

— На-а-а тебе! Будь ты от меня проклят! Накажет тебя господь! накажет! накажет! Эва,—кивнула она на сгоревший овин,—наказал уж, моланьей спалило не в указанное время. Ни у кого не сожгло, а у тебя сожгло. Не то еще будет, по-о-дожди! Где иконы? Куда ты их дел? Отдай! Отдай, мошенник, отдай! Отдай!!

Она заплакала, завывала и грузно опустилась на землю.

— И в кого ты только уродился у меня,—выла она.—Кабы знала-ведала, придушила бы тебя, когда родила. Учила ли я тебя этому? Господи, господи, что люди-то скажут! Что наделал? А господь-то батюшка, сразу вот тебя и наказал, спалил моланьей овин. Эва, гляди—одни головешки. Эх ты, мошенник, мошенник, и не совестно тебе, а?

Она уперлась руками в землю и поднялась.

— Вот что я тебе, сынок, скажу,—начала она опять.—Посля того, что ты сделал, не мать я твоя и не зови ты меня матерью, и жить я с тобой не буду, а уйду куды глаза глядят. Прощай! Не жилища я теперь, опосля этого, на белом свете.

Она еще пуще заплакала и, отвернувшись, пошла от меня прочь в сторону, не к деревне, а к видневшемуся вдали лесу.

— Мама!—крикнул я, чувствуя, что у меня трясется все тело.—Мама, куда же ты?!

Она не ответила и, не оглядываясь, шла дальше.

Я стоял и глядел ей вслед. Вот, глядел я, подошла она к перекрестку и остановилась. Долго стояла, наклонив голову, что-то думая. Потом махнула рукой и, повернувшись, пошла обратно, к себе в деревню.

---

Как я думал, так и вышло. Сгоревший овин (надо же было произойти такой случайности!) дал повод к тому, чтобы вся деревня увидела в этой случайности какое-то чудо и явное: „бог его наказал“ и „так ему и надо“.

Толстомордый, старый уже мужик, Никита Коленкин столкнулся со мной на улице и, сперва захохотав диким смехом, растягивая рот до ушей, воскликнул:

— Что, чортова голова, что сволачь нехрещеная, дождался, наказал господь за иконы, спалил овин! Да погоди, анафема проклят, не то еще будет. Погоди: лопнут бельмы-то у тебя, у нехрестя. Погоди! Бить тебя, проклятого, надо, придушить, как собаку, чтобы не было у нас в деревне пакости едакой... Сволочь!

Он плюнул и, ругаясь матерными словами, страшный в своей дикости, пошел от меня прочь.

Послезавтра, в воскресенье,—бабий праздник, так называемый „жены-мироносицы“, и по этому случаю все женское население деревни волнуется и готовится к этому празднику.

Каждая из них, а их в деревне больше сорока человек, по заранее намеченному плану обязана доставить по пяти фунтов муки и по ведру картошки „мастеру“ Демьяну Цыгану, имевшему общественный, или, как он сам называл его, „коллективный“, самогонный аппарат, для того, чтобы он, Демьян, нагнал к празднику „жен-мироносиц“ за известную, конечно, плату, для них самогону.

Праздник этот из года в год, как я себя стал помнить, „свято-нерушимо“ и всегда одинаково, как тридцать лет назад, так и теперь, исполняется бабами, считающими себя в этот день полновластными хозяевами деревни, и все мужики, мужья ихние, молча и терпеливо, не протестуя, покоряются им и терпят от них то, что в обычное время никоим бы образом не терпелось.

В воскресенье, т.-е. в праздник „жен-мироносиц“, с утра, как только стал слышен доносившийся с сельской колокольни благовест в большой колокол к заутрене, все бабы, в том числе моя жена и мать, нарядившись во все лучшее и захватив с собой каждая по три яйца, отправились в церковь христосоваться с попом.

Накануне с вечера, в то время, когда они, сидя за ужином, горячо обсуждали грядущее завтрашнее торжество, я не утерпел, сделал им замечание, сказав, что пора бы бросить этот дикий обычай и никуда не ходить, а сидеть бы дома, занявшись хотя бы тем, чтобы помыть детей и вычесать у них из головы вшей.

— Сам-то вшивый чорт!—завизжала на меня жена и бросила по столу ложку.—Нехристь! Люди-то, подумаешь, глупее тебя. Ах ты, дурак, ты, дурак, где ты такой родился-то только?!

— Ему бы надо было овцой родиться-то,—вставила с своей стороны мать,—авось бы, волк с'ел. Нарахал тебя чорт на мою шею! Родила я тебя, сука проклятая, выплеснула на свое горе, тьфу! Знаемо бы дело, придушить бы тебя в те поры надо, собакам бросить, нате, мол, жрите!!

Она заплакала.

— Накажет тебя господь! Накажет, накажет!—захлебываясь слезами, твердила она, как тетерев на току.—Накажет! накажет!

Не стал больше слушать и ушел спать в сарай на старое, оставшееся от зимы, сено.

Сарай, старый, покачнувшийся, стоявший на подпорках, державших его с той стороны, на которую он ткнулся, и построенный давно, как и сгоревший овин, покойным дедом.

Помню я, как этот умерший любимый мой дед, когда я еще был мальчишкой, рассказывал мне здесь, в этом сарае, где мы с ним спали вместе на сене летом, про крепостное право и про свою многострадальную жизнь.



Как сейчас гляжу и помню то время. Бывало, в августе, когда темные ночи тихи и чутки, а на небе горят и дрожат звезды далекими блестящими точками, дед отворит ворота сарая, сквозь которые видно далекое усыпанное звездами небо, ляжет со мной рядом на душистое, пахучее сено и начнет говорить.

Я лежу навзничь, слушаю его, слушаю, как за сараем стрекочут кузнечики, гляжу сквозь ворота на бесконечное пространство усыпанного звездами неба, многого не понимаю из рассказа деда, но как-то чувствую своим детским сердцем к говорящему милому, дорогому деду великую жалость.

---

Попутру в воскресенье, как уже и говорилось, бабы ушли в церковь христосоваться с попом и возвратились назад, веселые и возбужденные, часов в двенадцать.

— Бог милости прислал!—крикнула жена.—С праздником! С праздником, детушки, сохрани вас и помилуй святые, славные жены-мироносицы!

Она, покосившись на меня, оделила их всех по кусочку принесенной из церкви просфоры. Собрала на ладонь левой руки крошки, перекрестилась, и тщательно слизав их с ладони, сказала матери:

— Ну, мама, пойдем, что ли. Небось, пора. Не опоздать бы.

— Небось, нашу порцию не выпьют, оставят,—ответила мать и, поднимаясь со скамейки, добавила, обращаясь к детям:— Вы тута, смотрите, чертеняты, не баловаться у меня, а то уже прийду, узнаю,—шкуру спущу и на мать не погляжу!

На меня, бывшего здесь же, они не обращали ни малейшего внимания.

Не сказав мне ни слова, они ушли, а вслед за ними убежали из избы дети. И вот, немного погодя, старшая девочка Дуняша, растрепанная и вся в слезах, прибежала в избу обратно, и что-то лопоча, чего я не мог понять, ткнулась, заслонив руками лицо, на стол и еще больше затряслась, вздрагивая худенькими плечами от душивших ее рыданий.

Я испугался.

— Что такое с тобой? Кто тебя обидел? Что сделалось?

— Меня,—начала она, захлебываясь слезами,—дяди Степана Ванька прибил.

— За что?

— За что, за что... дразнится: „нехристева дочь, нехристева дочь“. Драться стал, а ребята другие тоже, на него глядя, задразнили. Гулять не велят ходить и тебя ругают, а что я им сделала?

Она опять еще горше заплакала, еще сильнее затряслась ее худенькие плечики, а мне, глядя на нее, сделалось до того

горько, обидно и больно, что я едва не заплакал и от обиды и от внезапно закипевшей во мне злобы.

Оставя девочку одну, я выскочил из избы и побежал к Степану.

Степан, пожилой, рыжебородый, по прозвищу Портки, мужик, живший прежде, до революции, „на барском дворе“, в княжеском имении, в кухонных мужиках, злобный и дикий враг советской власти, чтец „божественных“ книг, ожидающий и надеющийся на возвращение „господ“, сидел, куря трубку и греясь на солнышке, под окнами своей избы на завалинке.

Злость моя при виде его увеличилась, ибо я отлично понимал то, что сынишка его Ванюшка говорил не свои слова, а слова этого вот рыжебородого, ненавидевшего меня, Степана.

— Здравствуй,—сказал я, садясь с ним рядом.

Он вынул из рта трубку, выколотил ее об толстый, корявый, на большом пальце левой руки, ноготь и, скосив на меня прищуренные глаза, сказал:

— Наше вам-с! Что скажешь?

И в тоне его голоса, и в прищуренных глазах почувствовал и увидел я великую ко мне злобу.

— Что скажешь?—снова повторил он.

— Вот что скажу,—закричал я,—твой Ванюшка, по твоему наущению, бьет мою дочь и дразнит ее „нехристева дочь“.

— А ты слышал, как я его учил?—спросил он.

— Знаю,—опять кричал я,—сам он не выдумает!

Он усмехнулся и уже с нескрываемой злобой сказал:

— Стало быть, вот выдумал! Эва,—продолжал он,—малые ребята и те поняли, и те лают. Н-да, брат, дожил ты, заслужил. Да и за дело! Так тебе и надать, сукину сыну! Убить тебя мало. Из поганого ружья застрелить, как собаку! Баламутка чортова! Тоже: „кто я, камуниста“, тьфу! Дождешься, сволачь, погоди, дай срок.

И вдруг, вскочив с места и потрясая передо мной кулаками, завопил:

— Ты чего со святыми иконами сделал, а?! Надругательство сделал, анафема проклят! А не думаешь, сволачь, что через это божеское наказание на деревню на нашу за твое паскудство снизойдет? Не думаешь, что господь, царь небесный, в гневе в своем праведном накажет нас всех за тебя. „Эва, скажет, цела деревня, сколько народу православного, эдакую сволачь у себя держут и совладать с ним не могут. Нате вот вам за это, казнитесь!“ Овин-то через чего у тебя сгорел, а? Какой ты есть православный хрестьянин, а? Какой? Отвечай мне, собака?!

Он замахнулся на меня и хотел ударить. Я схватил его левой рукой за глотку, повалил на завалинку и начал душить.

Не знаю, как я не задушил его на-смерть. Страшно мне сделалось, что ли, или еще что, но только я бросил его и

побежал домой, слыша, как он поливает меня вслед матерными ругательствами.

---

Дома было пусто. Девочка, очевидно, наплакавшись, убежала гулять.

Я сел к открытому окошку на скамейку, хотел закурить, но не мог свернуть папироску, ибо руки тряслись, и весь я был переполнен ужасом только что происшедшей сцены, и вместе с этим ужасом мне представлялся еще бóльший—в моей дальнейшей одинокой жизни здесь у себя, в деревне.

---

За окнами на улице послышались визгливые крики женских голосов, все ближе и ближе приближавшихся к моей избе, и немного погодя увидел я толпу пьяных баб, „жен-мироносиц“, в числе которых были моя жена и мать, с криком и визгом какой-то похабной с присвистом песни волокущих упиравшуюся молодую бабенку к пруду.

Вместе с толпой и за ней бежали с криком, радостные и возбужденные от предстоящего зрелища, ребятишки.

А зрелище, которое предстояло увидеть им, действительно, было любопытное.

Дело в том, что в этот бабий „жен-мироносиц“ праздник, каждый раз, из года в год, по издревле установленному обычаю, собравшиеся бабы купали, „обмывали“, в пруде ту молодую бабенку, которая вышла в этом текущем году замуж.

В прошлом году, как мне было известно, в этот же самый день осатаневшие бабы „закупали“ было совсем на-смерть молодую бабенку, и только благодаря какой-то случайности осталась она жива.

Так и теперь. Упиравшуюся бабенку подтащили к берегу, и как она была, во всей одежде, бросили в пруд.

Хохот, визг, вой раздался еще сильнее!...

---

„Обмыв“ в пруде визжавшую благим матом „молодую“, все бабы опять с пением и свистом направились в избу к Демьяну допивать самогон, и опять за ними, как и давеча, побежали ребятишки.

Я вышел из избы на задворки под росшую там липу и занялся вытесываньем на чурбашке нового топорища для недавно купленного топора.

Прошло эдак с полчаса. Оттуда, где была изба Демьяна, слышались песни гулявших баб. Потом, немного погодя, песни смолкли, и я услышал, как визгливый бабий голос, с какими-то перерывами, закричал несколько раз подряд: „Караул! Караул! Караул!“

— Драка началась,—подумал я,—бьют какую-то.

И только подумал, как то мне, так же, как перед этим, с плачем, прибежала Дуняша и закричала:

— Тятя, тятя, иди скорей! Тетка Варвара мамку бьет, иди скорей!

Я бросил топор (и хорошо сделал) и побежал к избе Демьяна.

Здесь, около избы, из которой все бывшие в ней бабы высыпали на улицу, я увидел, что они, собравшись в кучу, глядят на драку, происходившую между моей женой и Варварой, женой Степана.

Я подбежал. Варвара, здоровая, косматая, пьяная баба, повалила мою жену, тоже пьяную, на землю, и сидя на ней верхом, тыкала ее лицом в землю и рвала на голове волоса.

Моя старуха-мать, страшная, растрепанная и мертвецки пьяная, делала попытки оттащить Варвару и ругалась скверными матерными словами.

Пьяные бабы, наблюдавшие эту картину, гоготали и ничего не делали. А когда я бросился разнимать дерущихся баб, то услышал, как на меня со всех сторон посыпались ругательства. Когда же мне удалось освободить жену от вцепившейся в нее бабы, она с исцарапанным в кровь лицом, с полоумными глазами и с пеной по углам посиневших губ, набросилась на меня с ругательствами, крича:

— Через тебя, мошенника, богоотступника, терплю! Ты, сволочь, довел — в люди вытти нельзя. Из-за тебя меня бьют.

— О-о-го-го! — заржали бабы, и одна из них закричала:

— Бабаньки, милые, чего на него глядеть-то. Зачем в нашу компанию пришел, выискался — в пруд его! Искупаем! Выучим, сволоча, как иконы колоть!

— Утопить его, чорта, совсем, чтобы не отсвечивал! Утопить, утопить! — раздались голоса. — Бери его, бабы, тащи!!

И, прежде чем я успел сделать что-либо в свою защиту, они накинулись на меня, сбили с ног и поволокли к пруду.

Помню, как они с хохотом, визгом, ругательствами бросили меня с берега в грязный, но довольно глубокий, где полощут белье, поят скотину, так называемый „поганный“, пруд.

Очнулся я дома на полу. Надо мной сидела пьяная мать и выла, причитывая, как по покойнику.

Я убежал из избы в лес и пробыл там до вечера.

Вечером, когда уже село солнце и пала роса, но было еще светло от зари, я, как вор, прокрался позади овинов к своему сараю и, тихонько отворив ворота, вошел.

Прямо против меня на переводе, лицом ко мне, висела на веревке мать. Лицо ее было страшно. Изо рта высунулся прикушенный клыком синий язык, а вышедшие из орбит глаза глядели на меня, и в них был ужас и мертвая тьма, та самая, в которую они глядели живые.

## Март на Арбате.

На небе солнце ходит выше  
И розовее облака,  
Но все еще белеют крыши,  
И все еще крепка река.

Народу больше на панели,  
Шумнее, звонче детвора..  
Но все: кто—в шубе, кто—в шинели,  
И снегу—горы на дворах..

Но ветер мартовский—вот ветер!—  
Водою, зеленью гудит.  
Он за весну один в ответе  
И много может начудить.

Смотрите, дел наделал сколько:  
Вот нэпман на панели—хлоп!..  
Вот сбил платок у комсомолки,  
Кудрявый оголяя лоб.

Вот пролетарскому поэту—  
Охалкой снега по спине...  
Сказал, что никаких зим нету,  
Чтоб пел, вихрастый, о весне.

Да, в зиму я теперь не верю:  
Какие, к чорту, тут снега,  
Когда от этого от ветру  
Едва держуся на ногах!

НИКОЛАЙ ПОЛЕТАЕВ.

---

## Р я д о м.

Рядом—Колька и ткачиха.  
„Красному Ткачу“  
Ткут и красят бойко-лихо  
Версты кумачу.  
Рядом—маем, нашим маем,  
В топоте колонн,  
Смех бросая, пыль вздымая,  
Рассыпая звон.  
Рядом—в клубе, в политшколе,  
Словно два луча.  
Разве словите без Коли  
Надю с „Красного Ткача“?  
Всюду—рядом, вместе—всюду,  
Жизнь—большая и простая;  
Бьется, рвется, льется удаль,  
Удаль молодая.  
И рядом—в тревожные дни сентября,  
Когда Нева, как зверь, сломавший клетку,  
Бросалась, пьяной злобою горя,  
На набережные и на проспекты;  
Когда Нева, освирепев от злости,  
Ломала здания, корежила торцы  
И, словно необглоданные кости,  
Хватала фабрики, заводы и дворцы;  
Когда с пылающего дома  
Кидались в воду с пятых этажей,  
Но налетевшие озера—не солома  
Родимых аржаных полей.  
И падали на суетящиеся лодки,  
В обломки барок и в огонь, без сил,  
И только всплеск да вскрик короткий  
Свирепо жесткий ветер пронесил.  
Вот девушка—горит, осатанело бьется...  
Но не найти ни окон, ни дверей,  
И пропадает в огненном колодце  
Одна из милых, звонких дочерей.  
Тогда и Колька, и ткачиха  
С упорством молодым,  
Как и всегда, отзывчиво и лихо  
Метались на лодчонке в дым.  
Оттуда—скарб, суют малюток,  
Толкает кто-то бережно гармонь,  
И также все убийственно и люто  
И угорело мечется огонь.  
Лишь поздней ночью пламя стало скупо

И перестали звать детей и мам.  
По городским торцовым трупам  
Из лодок расходились по домам.  
Всюду—вместе, всюду—рядом  
Сколько Колек, Надек, Вер,  
Рядовым сознательным солдатом  
Трудового СССР!

ЕВГ. ПАНФИЛОВ.

---

## В застенках дней.

В застенках дней запрятаны года,  
Года крылатые, как зарево лесное.  
Уйду ли я, уйду ли я когда  
В мои поля, не выпитые зноем?

Увижу ли сосновые леса  
И синь овсов с мохнатым курослепом?  
Бездомных душ бродяжки голоса  
Меня покинули насмешливо и слепо.

Унес бы грусть, как розовую весть,  
В родную ширь, в некошеные яры.  
Но стынет жуть, и черная, как месть,  
Косится ночь на желтые бульвары.

А помню дни: клялись перепела,  
Сорили ночи запахами сена,  
И спали льны у тихого села,  
Склонясь на гибкие колена.

Я был тогда неопытен и мал,  
Галченком был на солнечных припеках,  
И в первый раз ощупал и узнал  
Девичью грудь и маковые щеки.

Ах, были дни, зеленые года,  
Но их душе затрепанной не жалко.  
Я вновь найду, покинув города,  
Степную жизнь, затерянную в балках.

Я выйду в путь, как утром облака,  
И поведут кочующие тропы  
Меня, голодного, седого мужика,  
В цветы, колосья, травы и укропы.

И там, где моет чахлая лоза  
 Капелью рос обглоданные ноги,  
 Увижу я любимые глаза  
 И теплых изб высокие пороги.

Увижу пахаря... Корявая рука  
 Сожмет мою тисками чернозема,  
 И зашумит на сердце босяка  
 Плечистых нив кудрявая солома.

Пойдут года отраду лопушить,  
 Тоска умрет и больше не воскреснет,  
 И будут жить в рассаднике души  
 Овсяных дум калиновые песни.

\* \* \*

Года и дни, как девушки, гадают  
 И ждут, и ждут отрады иль беды,  
 А на полях цветут и расцветают  
 Мужичьих былей тихие сады.

А на полях знакомые поселки  
 Вдыхают синь свободно и легко,  
 И жадно пьют из жирной многополки  
 Пахучее густое молоко.

И ходят в рожь, как лошади в ночное,  
 Вечерки, смех, гармоника и пляс.  
 С весны до осени веселая от зноя  
 Качается у гумен конопля.

Лишь только я качаться не умею:  
 Мои года у солнца за спиной.  
 Я отдал жизнь за лучшую затею,  
 Но и она смеется надо мной.

Года и дни, как девушки, гадают  
 И ждут, и ждут отрады иль беды.  
 А на полях цветут и расцветают  
 Мужичьих былей тихие сады.

ГЕОРГИЙ ХВАСТУНОВ.



# Черноморское восстание \*).

(Воспоминания).

## Как работают революционеры.

В Одессе.

**В** декабре 1918 года центральный комитет большевистской партии отправил в Одессу трех товарищей: Клименко, Николая Смирнова, он же Ласточкин, и Елену Соколовскую. В числе других заданий им было поручено, с одной стороны, укрепить партийную организацию на месте и подготовить рабочий класс к выступлению, а с другой — наладить агитацию и пропаганду для разложения союзнической армии.

Товарищ Ласточкин отличался необыкновенной активностью. Он нес самую разнообразную работу, все знал, во все входил сам, и это-то его и погубило, как мы увидим ниже. Что же касается Елены Соколовской, то ей едва было 21 год, а на вид не больше 16. Смелость ее была безгранична и мы всегда удивлялись, как это она еще не арестована. Очень возможно, что она ускользала от полицейских лап не только благодаря хладнокровию и находчивости, но и вследствие крайней своей молодости.

Эти-то три товарища реорганизовали комитет партии и создали военно-революционный комитет, председателем которого стал Ласточкин <sup>1)</sup>). Товарищ Анулов был начальником революционного штаба. Была создана так называемая иностранная коллегия со специальным заданием вести пропаганду среди солдат. В этой коллегии Ласточкин был председателем, а Елена — секретарем.

В коллегия входили товарищи, говорившие на языках Антанты. Первым шагом было создание тайной типографии, помещавшейся в одной из галлерей каменоломни, верстах в восьми от города. Место было выбрано так удачно, что типографию не могли захватить, несмотря на все розыски и обыски. Если бы даже союзная полиция и напала на след, то она никогда не рискнула бы проникнуть в бесконечные ходы и переходы каменоломни, так как там смельчака ждала верная смерть.

Товарищи, обслуживавшие типографию, несли самую напряженную работу. Им случалось работать без передышки по целым

\* ) Продолжение. См. № 3.

<sup>1)</sup> В состав ревкома кроме четырех большевиков входили два левых эс-эра и один анархист. Ред.

суткам. Они сменялись, спали и ели на месте, в душливой атмосфере, отравленной газом и дымом, работая при свете коптилок.

Проделанная ими работа была громадна. В типографии печатался прежде всего партийный орган «Коммунист», выходявший два раза в неделю, затем специальная газета для французских матросов и солдат на французском, языке называвшаяся тоже «Коммунист». Кроме того выпускалось множество листовок, воззваний и маленьких брошюр по-французски, по-польски, по-гречески, по-румынски и по-английски, а также прокламации и плакаты, которые расклеивали ночью по городу.

Вот образчик такого воззвания:

### «Призыв коммунистов Одессы.

#### Солдаты и матросы!

Мы получили с фронта сведения о том, что французские солдаты снова стреляли из ружей и пулеметов по двум красным отрядам, которые продвигались к ним с пением, не замышляя против них ничего дурного. Что вы делаете? Вас обманули: вы снова выступаете против своих братьев. Вы такие же рабочие и крестьяне, как и они. Заклинаем вас: осмотритесь и подумайте, прежде чем открывать огонь!».

Печатный материал перевозился в город на повозках, доставлявших товар в центральную часть города, в гостинный двор в свой магазин, где продавались табак и папиросы. В ящиках с товаром прятались пачки брошюр и листовок. Как только партия прибывала, товарищи, заведывавшие распределением литературы, являлись в магазин, якобы за табаком, и уносили ее. Довольно часто случалось и так, что они попадались раньше, чем успевали распределить литературу или донести ее до надежного места, но, несмотря на пытки, ни один из арестованных ни разу не сказал, где получил ее.

Солдатам литература раздавалась весьма просто: иногда ее прямо передавали встречным солдатам, иногда же подростки, под видом газетчиков, пробирались в казармы и в места расположения войск и раздавали листовки и брошюры. За это их часто избивали.

К концу союзной оккупации Одессы у большевиков был даже свой человек на радиостанции, что давало им возможность получать самые точные сведения.

Полиция была совершенно бессильна. Руководил ею французский штаб, но так как каждая национальность и каждая общественная организация (городская дума, добровольцы, украинцы и т. п.) завели свою собственную полицию, то в конце концов в Одессе оказалось 17 охранок. Обстоятельство это, конечно, должно было бы значительно затруднить нелегальную работу среди войск, но дело в том, что активность проявляла, собственно говоря, одна только французская контр-разведка, да и то в Одессе

она была далеко не такой, как во время войны, когда она славила своим искусством.

Чины французской тайной полиции были попросту набранным с бору да с сосенки бессовестным сбродом. Никто из них не имел специальной подготовки, и все свои сведения они получали от осведомителей, купленных за деньги. Зато свою несомненность они искупали невероятной жестокостью: никто в России не проделывал таких зверств, как французские полицейские. Ниже я приведу несколько примеров. Весьма вероятно, что одесские охранники были те же самые, которые служили раньше в военной полиции союзной армии на Ближнем Востоке и которые в 1915—16 г.г. работали в Греции, в частности в Афинах, где их поведение оказалось совершенно скандальным. Все эти люди были французы и не знали ни одного иностранного языка.

Комитет партии создал также организацию революционного Красного Креста для арестованных товарищей. Организация эта выступала официально под названием «Красного Креста для помощи заключенным». Ей удавалось до известной степени облегчить их лишения, а, кроме того, сведения, сообщаемые ею партии, помогли устроить несколько побегов.

Для тех, кто попадал в руки добровольцев, дело обстояло просто: стоило улатить некоторую сумму денег, и товарищей освобождали. Один из активных партийных работников, принимавший участие во всех одесских выступлениях, говорил, смеясь: «Попадись им сам Ленин, они и его выпустили бы за несколько рублей».

Работа по разложению армии Антанты велась, главным образом, среди французов. Поляки не поддавались никакой пропаганде и с ними ничего нельзя было поделаться. С сербами дело тоже обстояло туго. Зато можно было развить некоторый успех среди греков, хотя и здесь серьезной пропаганде мешало то обстоятельство, что греков отправили в передовую линию и тем самым устранили возможность общения между ними и рабочими кварталами города. Французы же, которых часто перемещали с фронта в тыл, наоборот, легче других подвергались воздействию.

Но и среди них пропаганда имела неодинаковый успех—в зависимости от того, велась ли она среди солдат или среди матросов.

В первые же дни после высадки, уже к 20 декабря, рабочие завязали сношения с французскими матросами, в частности с командой «Жюль Мишле». Знакомства заводились в кафе и на улице, и рабочие скоро убедились, что большинство матросов были готовыми революционерами. На рождество делегация матросов явилась приветствовать профессиональный союз швейников. Около 10 января команды линейных кораблей на внешнем рейде готовились восстать во что бы то ни стало. Понадобилась вся сила убеждения со стороны большевиков, чтобы разубедить матросов и остановить преждевременное и разрозненное выступление, которое бесполезно погибло бы в потоках крови.

Не то было с солдатами. В особенности зуавы и африканские егеря, состав которых тщательно отбирался еще в мирное время из среды торговцев, живущих эксплуатацией ненавистных им алжирских арабов, обнаруживали крайний патриотизм и ничего не желали слушать. По их мнению, большевики были союзниками немцев и поэтому они отказывались говорить с рабочими. Только после прибытия войск из самой Франции пропаганда начала проникать в солдатскую массу. Как увидим, она развивалась очень успешно и захватила даже младших офицеров.

В феврале в буфете одесского вокзала разыгралась бурная сцена: несколько лейтенантов резерва (вероятно, бывших учителей) жестоко напали на какого-то французского же капитана, заявляя, что «оккупация России—позорная гнусность».

Число матросов и солдат, общавшихся с иностранной коллегией, увеличивалось с каждым днем, так что к середине февраля во всех почти частях и командах были сформированы ячейки, не знавшие друг друга, но связанные между собой через коллегию и готовые к восстанию.

Коммунистическая молодежь, несмотря на свою юность и на недостаток образования, оказывала делу пропаганды крупные услуги.

### В Херсоне.

Несмотря на трудность сообщения с Одессой, херсонские большевики энергично взялись за подпольную работу, которая велась, главным образом, молодежью, способной выучиться по-французски. Была устроена совершенно примитивная тайная типография, состоявшая попросту из пишущей машинки, на которой молодые пропагандисты, не зная еще как следует французского языка, ухитрялись, тем не менее, день и ночь составлять и печатать листовки и брошюры для матросов и солдат. Литературу эту находили на кораблях повсюду, вплоть до офицерских коек, отчего офицеры приходили в дикое бешенство. Трое матросов, работавших по связи между типографией и эскадрой, все время требовали новой и новой литературы, и все им казалось мало.

Отметим среди молодых активных работников этого периода товарища Фортус<sup>1)</sup> и ее брата, командированных из Одессы.

В Херсоне была сделана та же ошибка, что и в Одессе: вся работа сосредоточена была на французских солдатах, стоявших в городе и уже без того распропагандированных. Зато крайне слабо велась пропаганда среди греков, расквартированных вне города, хотя их можно было бы более широко привлечь к революционному движению. Этот промах привел несколько дней спустя к ужасающей драме, о которой речь впереди.

<sup>1)</sup> Псевдоним. Р е д.

## Мученики революции.

В Одессе.

Бесчисленные полицейские агенты, шнырявшие по всей Одессе, не замедлили довести до сведения французского командования о революционной пропаганде среди солдат и матросов.

Начальство, повидимому, совершенно растерялось при виде разложения оккупационной армии. Не зная, как остановить пропаганду или как захватить неуловимых агитаторов, оно решилось на гнусные меры, которые, как каленым железом, выжгли позорное клеймо на французском военном командовании, допустившем все это безобразия или прямо в нем участвовавшим.

Добровольцы на улицах убивали рабочих за малейший пустяк. Французы показали, что по части зверства они не лучше добровольцев.

Первый случай, вызвавший чрезвычайное негодование среди рабочих, произошел 17 февраля.

В этот день, около семи часов вечера, на товарной станции, под вагоном, где помещался небольшой караул французских зуавов человек в 15, разорвалась бомба или ручная граната. Вагон был слегка поврежден, а два солдата легко ранены, скорее, оцарапаны, осколками разбитого стекла.

Как только раздался взрыв, солдаты вскочили из вагона и открыли огонь из ружей и пулеметов по направлению к железнодорожным мастерским. Затем они бегом бросились к домику мастера депо, в котором находилось несколько рабочих пути на работе. Добежав до домика, солдаты немедленно стали стрелять в рабочих и смертельно ранили кочегара мастерских Василия Горбатюка, 30 лет. Уборщик котельного отделения Василий Прышак, 19 лет, стоявший рядом с Горбатюком, был заколот штыками, а остальные попадали на пол, притворяясь мертвыми и только этим спаслись от смерти.

Оба убитых в момент взрыва находились в избушке и поэтому не могли бросить бомбу.

Затем солдаты ворвались в мастерские. Алексею Слепухину, токаря по металлу, в двух местах разбили голову ударами прикладов, и его пришлось отвести в госпиталь. Всех остальных рабочих, бывших в мастерской, разогнали и избили.

Комендант станции, прибывший на место сейчас же после происшествия, отказал, ссылаясь на закон, в просьбе убрать тела и приступил к дознанию. Тела убитых оставались лежать на месте до 4 часов утра, когда их, по приказанию коменданта, подняли и повесили на пешеходных мостках, переброшенных высоко через пути. Над трупами была укреплена надпись: «В наказание большевикам». И только 18-го, в полдень, после бурных

протестов рабочих, тела были сняты и перевезены в мертвецкую при городской больнице.

Угроза немедленной всеобщей забастовки заставила управление железной дороги отправить командующему войсками в Одессе записку, за подписью инженера Новицкого. В этой записке, подкрепленной документальными данными и свидетельскими показаниями по всей форме, управление требовало срочного расследования.

Ответ военного начальства был чрезвычайно типичен. Вот он:

Штаб командующего  
союзными войсками  
на юге России.  
2 отделение.  
№ 916/2.

Главная квартира. 27 февраля 1919 г.

От генерала д'Ансельма, командующего союзными войсками на юге России.

Генералу Санникову, командующему <sup>1)</sup> русскими войсками на юго-западе.

В ответ на Ваш № 117 от 21 февраля имею честь препроводить при сем копию рапорта, касающегося инцидента 18 февраля. Согласно дознанию, патруль открыл огонь по убежавшим и не может нести ответственности за случившееся, в особенности в настоящей обстановке революционных волнений.

Начальник штаба (подпись неразборчива).

Из приложенного рапорта привожу текстуально следующее характерное место:

«Тела убитых оставались на месте всю ночь под охраной часовых. На другой день они, действительно, были повешены на веревках, продетых подмышками, и с надписью: «в назидание большевикам». В таком положении тела оставались до 11 часов утра. Убитые, по всей вероятности, были или зачинщиками, или соучастниками покушения. Во всяком случае, наш патруль *вступил в бой* (? Р е д.) с убегающими русскими и выполнил свой долг, доказав, что нельзя безнаказанно нападать на французский пост. Выставка трупов была необходима по тем же соображениям.

Подпись (неразборчива)».

Событие это произвело потрясающее впечатление, и рабочие стали массами вступать в тайные организации.

<sup>1)</sup> Генерал Санников командовал юго-западной добровольческой группой генерала Деникина, впоследствии был в ставке Деникина генералом-квартирмейстером. Р е д.

А затем начала работать и французская полиция, вся гнусность которой сказалась в аресте и казни членов иностранной коллегии (в ночь с 1 на 2 марта).

Можно сказать, что к тому времени французские войска уже совершенно разложились, и среди них, благодаря усилиям иностранной коллегии, были заложены начатки революционной организации.

В коллегию, кроме Ласточкина и Елены, входили Яков Елин, делегат от центрального комитета, занятый преимущественно работой среди матросов, Михаил Стиликверт, Дубинская, Винницкий, Вапельник и некий серб, по имени Радко. В феврале 1919 года в Одессу приехала Жанна Лабурб, специально командированная центральным комитетом партии. Жанна Лабурб, французенка-учительница, жившая в Бессарабии, принимала в 1917 г. в Москве вместе с Розой Бланше участие в организации французской коммунистической группы. Когда она приехала в Одессу, ей было около 40 лет.

Нечего и говорить, что все эти активные работники, выполнявшие столь опасные поручения, принадлежали к отборнейшим людям, и об их смелости и самопожертвовании можно судить хотя бы по тому, что у Винницкого, например, было четверо детей от 5 до 11 лет.

К концу февраля французские войска были готовы к общему выступлению. В каждом полку, на каждом корабле существовали маленькие ячейки, связанные с иностранной коллегией.

Партийный комитет решил начать подготовку выступления и созвать на воскресенье 2 марта общее собрание делегатов коммунистической эскадры и сухопутных частей для отдачи последнего распоряжения. План заключался в следующем: в назначенный день на французских кораблях поднимались красные флаги, и тотчас же после этого матросы и солдаты должны были арестовать своих офицеров, избрать советы и с оружием в руках присоединиться к рабочим, чтобы захватить власть в городе.

2 марта на рассвете Радко явился на один из тех пунктов, где происходили встречи членов подпольного комитета. На нем не было лица, и первую минуту он не мог выговорить ни слова. Затем он рассказал следующее:

Накануне в 7 часов вечера Радко находился в том доме, где жил он сам и Жанна Лабурб. Жанна тоже была дома, также как и их квартирная хозяйка, Лейфман, старуха 65 лет, ее две дочери, Вера и Ревекка, их подруга и некто Швец. Последний даже по наслышке ничего не знал про коммунистическую партию и зашел к Лейфманам в гости случайно. Дочери Лейфман занимались с Жанной по-французски. Вдруг к дому под'ехал грузовой автобомбль, и в квартиру ворвалось человек десять, в большинстве офицеры, в том числе три французских пехотных офицера и один морской. Они выхватили револьверы и с криком: «руки вверх!» объявили присутствующим, что все арестованы. Один

из офицеров бросился к Радко со словами: «вас сегодня же расстреляют, если вы не скажете, где деньги, которые вы привезли из Москвы!». Радко обыскали, отняли часы и все наличные деньги. Старуха Лейфман плакала, офицеры на нее закричали: «молчи, дрянь, если тебе шкура дорога!». Затем начался обыск—ломали мебель, ругались, тащили ценные вещи. Ничего не найдя, офицеры посадили всех на грузовик и отвезли на Екатерининскую площадь во французскую контр-разведку.

Там арестованные застали уже Якова Елина, его невесту, Михаила Стиликверта и Винницкого,—всех их взяли в одном кафе.

В соседней комнате помещались два французских матроса в наручниках. Елина первого вызвали туда для допроса. Допрашивал французский офицер, пожилой и в высоком чине (говорят, это был сам генерал Бориус). Рядом с ним находилась светлая рыжая женщина, имевшая отношение ко всем предприятиям охраны. Яков отказался отвечать на вопросы,—тогда рыжая ударила его в висок рукояткой револьвера. Затем выступил солдат маленького роста,—он оказался переодетым шпионом и был на свободе,—и стал оговаривать Якова. Яков упорно отрицал показание шпиона, и последний с яростью набросился на него и так ударил его, что сбил с ног. Другие агенты в штатском присоединились к первому, и Якова, терявшего уже сознание, вывели в соседнюю комнату. Когда его уводили, Радко успел заметить, что он был весь в крови.

Затем вызвали Винницкого и с ним было то же самое: его избивали—сначала рыжеволосая, а затем шпион, переодетый солдатом. Когда закончили с Винницким, французский офицер подошел к двери и позвал по-французски: «господин Мишель!» Стиликверт прошел в комнату для допроса, где его так избили, что старуха Лейфман лишилась чувств от его криков. Тогда Радко обратился к офицеру-добровольцу и спросил его, почему так обращаются с арестованными. Офицер ответил: «мы тут не при чем, здесь французы хозяева». Тут к Радко подскочил французский офицер и ударил со словами: «заткни глотку!»

После Стиликверта вызвали Швеца и избили, как и других. Дочерей Лейфман, их подругу и невесту Елина не допрашивали: офицеры-добровольцы потащили их в соседние комнаты, и по крикам, раздававшимся оттуда, Радко понял, что их насильовали (медицинская экспертиза и вскрытие подтвердили эту догадку). Старуха Лейфман, онемевшая от ужаса, не могла выговорить ни одного слова,—ее тоже избили.

Радко видел, как увели двух закованных матросов,—их, вероятно, жандармы расстреляли 25 марта вместе с артиллеристами, и тела их не были найдены.

Наконец, пришел черед самого Радко. Он ответил, что он сербский подданный, политикой не занимается, и потребовал, чтобы о нем было сообщено сербскому правительству. Должно-



быть, поэтому его не били. После допроса Радко отвели в ту комнату, куда отводили уже допрошенных,—они лежали на полу, все в крови. Через несколько минут в комнату вошло несколько русских и французских офицеров. Один из них наклонился над Стиликвертом и что-то тихо сказал ему, а затем ударил несколько раз по голове и ногой в живот. Пожилой офицер (генерал Бориус) и рыжеволосая женщина вошли в это мгновение и присутствовали при избивении.

Затем всех арестованных, в числе одиннадцати человек, посадили на грузовик под охраной добровольцев. Михаил отбился,—ему сломали ногу.

Грузовик направился к тюрьме. Арестованные заметили это и успокоились, надеясь, что их везут не на расстрел. Но когда машина поравнялась с еврейским кладбищем, раздалась по-русски команда потушить рефлекторы. Радко понял тогда, в чем дело и, сообразив, что терять ему нечего, пустил в ход свою необычайную физическую силу,—страшным ударом по лицу оглушил офицера-добровольца, выскочил из грузовика и бежал под покровом темноты. Несколько секунд он слышал стрельбу себе вдогонку, а затем, немного спустя, несколько залпов. Он тотчас же предупредил Елену, которой исключительный случай помешал прийти на собрание<sup>1</sup>).

По общему мнению всех товарищей, выдал серб Радко. Ревком его немедленно арестовал, но произведенное расследование доказало, что он не при чем, и его освободили. В настоящее время установлено, что арест иностранной коллегии был следствием доноса одного бывшего немецкого офицера, прпехавшего из Москвы с мандатом от германской группы Спартака (коммунисты). Человек этот очень хорошо говорил по-французски и притворялся, будто не знает русского языка,—на самом же деле он говорил по-русски и понимал все, что не подозревавшие обмана товарищи при нем говорили. Иностранная коллегия поручила ему установить связь с французскими войсками. Этот, с позволения сказать, спартакист был одновременно германским, французским и добровольческим шпионом, работая поочередно со всеми, но всегда против большевиков,—необычайно трогательный союз немцев, французов и русских добровольцев! И дальнейшие аресты были делом рук «спартакиста».

На другой день, 2 марта, добровольческая газета сообщила, что найдено 10 неопознанных трупов, которые свезли в морг. Газета не могла бы так скоро опубликовать эту новость, если бы не была осведомлена непосредственно военным начальством, подтвердившим, таким образом, свое участие в преступлении. Само собой разумеется, рабочие организации не имели возмож-

---

<sup>1</sup>) Расстреляны были: Жанна Лабурб, Яков Елия, Михаил Стиликверт, Винницкий, старуха Лайфман, ее две дочери, их подруга, их знакомый Швеиц и невеста Елия.

ности устроить похороны расстрелянных, — пришлось ограничиться возложением венков. Что касается солдат и матросов, которые должны были явиться 2 марта на общее делегатское собрание, то ни один из них не пришел.

Через два дня арестовали Вапельника на французской вечеринке. Незадолго до ареста он прибыл из Севастополя. Его расстреляли в парке, а через несколько дней пришел черед Изы Дубинской. Она была единственной из всех, представшей перед судом, который, разумеется, приговорил ее к смертной казни. Ее мужественное и полное достоинства поведение невольно вызвало к ней уважение ее караульных, которые позже говорили рабочим, что «они должны гордиться такими проповедниками». Мотивом приговора было обвинение в шпионаже.

6 марта городские гласные внесли ряд запросов в городскую думу по поводу этих казней. Социалисты негодовали... на словах. Впрочем, эс-эр Соловейчик в своей речи, основанной на документальных данных, привел много фактов. Он, между прочим, сообщил, что добровольцы и союзники расстреливали арестованных «при попытке к побегу». Их уводили в пустынное место и говорили им, что они свободны, а когда они отходили на несколько шагов, их убивали выстрелами сзади, потом же рассказывали, что «арестованные пытались бежать».

Еще через несколько дней рабочие, идущие на работу, обнаружили тела 18 расстрелянных рабочих, кое-как похороненных около тюрьмы. Собралась толпа, город начал волноваться. Тогда городская управа обратилась с официальным запросом к генералу д'Ансельму. Генерал сделал вид, что очень возмущен и уверял делегацию, что ему ничего не было известно, но что он расследует дело и строго накажет виновных.

Меньшевистская делегация поверила всем этим пустым обещаниям, заявила, что удовлетворена, и удалилась.

К 10 марта ревкому удалось восстановить связи с французскими матросами. Они, естественно, стали очень подозрительными и осторожными после расстрела иностранной коллегии. Работа к тому же, затруднялась не только гибелью почти всех говоривших по-французски товарищей, но и все продолжающимися арестами. 15 марта большевики, узнав об аресте французских матросов, сумели организовать снабжение арестованных продовольствием при посредстве «Красного Креста», — эта организация временно замещала иностранную коллегию и поддерживала связи с французами.

Однако, дело на этом не кончилось: кроме тех отвратительных преступлений, о которых я уже рассказывал, мне приходится привести два дальнейших случая.

Председатель иностранной коллегии Ласточкин не был арестован. Он продолжал свою тяжелую работу председателя местного комитета партии и ревкома и в конце концов наладил связь с революционным штабом. У товарища Ласточкина, чело-

века необыкновенно подвижного, энергичного и неутомимого, был один недостаток: ему все хотелось делать самому. Он вступил в сношения с неким Ройтманом, эс-эром, добровольческим шпионом, продававшим одновременно сведения и большевикам, Так, например, этот самый Ройтман сообщил им приведенный выше текст договора между французами и украинской Директорией.

Ласточкин не ограничился одним Ройтманом. При посредстве последнего он часто стал встречаться с добровольческим полковником Проминым, который, хотя и давал Ласточкину кое-какие сведения, но был попросту провокатором.

Первой жертвой был товарищ Саджаев, член президиума подпольного революционного комитета. Он был арестован французской полицией и доставлен в пресловутую французскую контрразведку, где его при опросе бесчеловечно избили французские и русские офицеры... Саджаев отказался назвать себя, — тогда его схватили за голову и за ноги и сразмаху ударили о стену. Когда он терял сознание, его обливали водой, приводили в чувство и продолжали истязания, поджаривали ему пятки, выворачивали руки, привязывали к спинке стула и глубоко кололи булавами. В конце концов, его заперли в одной из комнат третьего этажа, не добившись от него ни одного звука.

Через несколько дней к вечеру в караул заступили французские солдаты. Один из них прошел несколько раз мимо двери комнаты, где сидел Саджаев, повторяя: «Вас сегодня расстреляют, хотите, я вам дам револьвер?» Саджаев ничего не ответил, думая, что здесь какая-нибудь провокация. Прошло некоторое время, и явились пьяные офицеры. Сообразив, что его опять начнут пытать, Саджаев выбросился из окна и потерял сознание. Когда же он пришел в себя, он не мог больше пошевелиться, — его ноги были сломаны. У него хватило силы закричать: «Граждане, помогите, здесь пытаются!» На крик прибежали караульные солдаты-французы, а проходивший мимо пожилой офицер распорядился перенести его в тюремную больницу, и это спасло ему жизнь. Его освободили в день занятия Одессы красными. Он жив еще и в настоящее время и ходит на костылях, так как навсегда остался калекой.

Несмотря на все это, Ласточкин не порвал ни с полковником, ни с Ройтманом.

15 марта Ласточкин исчез. Расследование, немедленно произведенное ревкомом, установило, что Ласточкин завтракал с полковником и с Ройтманом и был арестован при выходе из ресторана. Товарищи думали, что его уже расстреляли, как вдруг в комитет была доставлена французским солдатом записка, извещавшая, что Ласточкин сидит под охраной французских матросов на барже, причаленной к молу (который представлял собой остров).

Ройтман согласился, было, освободить его за 200.000 рублей, но затем отказался, без сомнения, потому, что получил от фран-

цuzов большую сумму. Два раза была сделана попытка подойти к барже на лодке, но безрезультатно: караульные открывали огонь по всякому, кто приближался. При второй попытке товарищам, бывшим в лодке, в том числе Елене, удалось увидеть Ласточкина, и до сих пор это ужасное видение стоит перед их глазами. Ласточкину удалось высунуть голову, и на его лице, обрадованном при виде товарищей, видны были следы невыносимых страданий. Когда Одесса была занята красными, комитет партии спешно отправил на баржу отряд, но Ласточкина там не оказалось. Доктор Тумин, сидевший на той же барже, сообщил тогда об ужасающих приемах французской охранки, и *открытие подтвердило рассказ доктора*. Ласточкина утопили с камнем на шею в момент эвакуации города союзниками. Ему вырвали ногти и иголками выкололи глаза. Тело его извлекли из воды после двухнедельных поисков. Оно носило еще следы ударов, а доктор Тумин рассказывал, что трюм баржи был полон воды, так что Ласточкину приходилось все время ходить по наклонной стенке бортов. Ему неоднократно предлагали свободу и отправку во Францию, если он выдаст членов ревкома, но он ни разу даже не ответил на эти гнусные предложения, показывающие, что защитники буржуазии считают своих классовых врагов такими же подлецами, как они сами.

Все эти отвратительные преступления, совершенные прославленными своей «цивилизацией» французами, объясняют, почему продажная печать так много кричит о большевистских зверствах,—обычный прием застигнутого карманника, который первый начинает вопить: «караул!».

Что же касается Ройзмана, то в результате его последнего подвига он был «казнен». Французское командование с легким сердцем отреклось от него,—оно было радо отделаться от неприятного свидетеля.

В момент перехода Одессы в руки советской власти отряд красных войск проник в помещение французской контр-разведки и нашел там два трупа повешенных.

Но никто никогда не узнает всех зверств, совершенных в Одессе, никто никогда не узнает, сколько народу было так подло убито!

Добровольцы занимались, помимо прочего, еще и морским разбоем, с ведома командиров французских военных кораблей. Канонерка «Жаркий», с командой из добровольческих офицеров, крейсировала между Севастополем и Одессой, задерживая, где попало, рыбацьи лодки, очень многочисленные в тех местах. Экипаж захваченных лодок либо по неделям держали в вонючем трюме, либо, при малейшем подозрении, расстреливали и бросали в море.

Французское командование может уверять, сколько ему угодно, будто приведенные здесь факты ему неизвестны: придет день, когда французский рабочий класс потребует всех этих зверей к ответу.

### Победа генерала д'Ансельма.

Достаточно двух примеров, чтобы показать, как действовали большевики против французских войск.

В конце декабря отряд красной гвардии занял деревню Белявку, в 40 приблизительно километрах от Одессы. Отряд прибыл туда для охраны водопровода, расположенного при деревне и снабжавшего Одессу водой.

Союзное командование со своей стороны отправило отряд французских солдат, чтобы занять водопровод. Рабочие-красногвардейцы очистили его без боя, но собрали в деревне митинг протеста. Сход послал начальнику отряда депутацию, требуя об'яснить причины занятия водопровода французами. Офицер ответил, что получил просто приказ охранять водопровод, и что он не намерен вмешиваться в их дела. Тогда крестьяне всей массой двинулись на водопровод и осыпали офицера оскорблениями, крича ему, что они сами управятся со своими делами. Другие, указывая французским солдатам по направлению к морю, кричали изо всех сил, думая, что чем громче—тем будет понятнее—«вон!»

В этот момент на деревню неожиданно налетели добровольческие офицеры для реквизиции фуража. Крестьяне набросились на них с чем попало, несколько человек убили, а остальных обратили в бегство.

Тогда французский отряд перешел с водопровода в деревню и потребовал выдачи убитых. Часть солдат, теснимая со всех сторон толпой крестьян, с угрозами наступавшей на них, сдалась с криками: «большевик!» Другим удалось бежать, за исключением офицера, который был убит.

Узнав о происшедшем, французское командование отправило в деревню эмиссара с требованием выдать пленных солдат, на что крестьяне ответили: «Мы их не брали и не можем их выдать».

Тогда появилась целая колонна союзных войск с артиллерией и атаковала деревню по всем правилам военного искусства. Но, ворвавшись в деревню, французы и добровольцы нашли в ней одних стариков, женщин и детей,—все взрослые мужчины ушли. Разъяренные солдаты сожгли деревню, а все наличное население было расстреляно частью на месте, частью по приговору военного суда добровольческой армии. Французское командование применило в данном случае те же методы репрессий, которые оно обычно пускает в ход в Марокко и в Сенегале.

Приблизительно то же самое разыгралось и в Тирасполе, важном пункте по линии железной дороги из Одессы в Румынию.

30 января 1919 года отряд красных (около 100 человек) внезапно атаковал город. Началась невероятная паника, и французская охранная рота частью попала в плен, частью бежала в беспорядке.

4 февраля в полдень значительные силы союзников были двинуты из Бендер, чтобы отбить Тирасполь. Хотя Днестр замерз

колонна союзников повела наступление через мост. Впереди шел батальон 58 пех. полка, но при первых же пулеметных выстрелах солдаты повернули и пошли назад, говоря: «Мы здесь не для того, чтобы драться». Горная батарея, видя, что пехота отходит, отступила в свою очередь. Все эти солдаты были затем посланы в Газац, обезоружены и отправлены в наказание в Марокко. Несколько человек предстало перед военным судом, и один из артиллеристов получил 15 лет каторги (за подстрекательство к неповиновению в виду неприятеля).

После того, как французы отказались идти в атаку, румыны, входившие в состав колонны, были разбиты и обращены в бегство.

Тогда из Одессы был отправлен карательный отряд с артиллерией и с танками. Войска развернулись перед Тирасполем, но когда они вошли в город, то не встретили никакого сопротивления: партизаны попрятали оружие и вышли первые встречать союзников, как «избавителей». Город был занят без выстрела, что не помешало генералу д'Ансельму официально сообщить о том, как «французские и польские части после блестящей атаки выбили большевиков из Тирасполя, нанеся им тяжелые потери».

А в это же самое время один из офицеров его штаба воскликнул в частной беседе: «Как же вы хотите, чтобы мы дрались с большевиками — их нигде не видно!» И то обстоятельство, что большевики избегали открытого боя с союзниками и тем самым сберегали драгоценные жизни для борьбы с собственной буржуазией, — это обстоятельство делало французское начальство смешным в глазах солдат и привлекало их симпатии к противнику.

### Херсонское преступление.

Как мы уже говорили, в районе Николаева и Херсона оперировал атаман Григорьев, бывший на стороне красных. То, что он называл своей армией, были попросту отряды, плохо вооруженные и плохо снаряженные.

И в Херсоне, и в Николаеве союзники вели себя совершенно так же, как и в Одессе, несмотря на разные демократические обещания.

Тем не менее, 1 марта город Николаев, под властью французского штаба сохранял еще свою буржуазную городскую думу, свой совет рабочих депутатов и совет германских солдат-спартаковцев. В порту стояло несколько французских военных кораблей, в том числе крейсер «Брюи» (Bruix) с контр-адмиралом Эксельмансом на борту.

В Херсоне стояли 6 рот 176 полка, африканские егеря, несколько греческих полков (половина их была расквартирована в Николаеве), и, наконец, французская флотилия в составе канонерок «Альголь» и «Альтаир», минного транспорта «Плутон» и контр-миноносца «Мамелюк». На последнем находился контр-

адмирал Лежей, про которого его офицеры говорили: «Совсем истаскался старик, но зато—что за славный человек!».

Утром 2 марта партизаны Григорьева начали наступление на Херсон,—сначала его повел бронированный поезд, а затем пехота. В городе разыгралась драматическая сцена: все шесть рот 176 полка отказались идти в контр-атаку. Надо заметить, что за несколько дней до того французские солдаты торжественно обещали населению, что не сделают ни одного выстрела по большевикам,—и сдержали слово. Когда офицеры приказали собираться в бой, солдаты ответили отказом. Их тотчас же перевели в порт и посадили на корабли, где они всю дорогу до Одессы вели самую интенсивную пропаганду среди матросов.

Позже 9 человек из их числа были арестованы и отданы под суд за неповиновение в виду неприятеля. 8 человек были осуждены на 5 лет каторги каждый, а девятый, трудовой крестьянин Рибалэ, получил 10 лет за то, что ответил поручику, пригрозившему ему револьвером: «У меня найдется другой для вас».

Французское командование спешно вызвало из Николаева подкрепление—греческие войска. Сражение скоро приняло ожесточенный характер, и красным партизанам приходилось с бою брать дом за домом, улицу за улицей.

Чтобы помешать подходу красных частей,—французские канонерки без остановки стреляли по вокзалу из 16-сантиметровых орудий (одно из них разорвалось на «Альтаире»), и, конечно, все недолеты ложились в городе.

Несмотря на огонь с французских кораблей, деморализованные греки, не чувствуя за собой поддержки французских солдат, стали быстро сдавать. 7 марта, после жестоких рукопашных боев, они в диком беспорядке со всех сторон хлынули в порт.

Но, очищая город, они захватывали из домов все живое, что только могли найти,—это они называли «брать заложников». Всех этих беззащитных людей приводили в порт и запирали в больших складах (пакгаузе) на пристани<sup>1)</sup>. Там их строго охраняли и в течение последних 24 часов не дали ни куска хлеба и ни глотка воды. Вечером 9-го греки, на-голову разбитые, бежали на французские канонерки. В пакгаузе в это время находилось до 2.000 человек,—стариков, женщин и детей. Вдоль амбара заранее были сложены облитые керосином связки камыша, который в тех краях служит топливом. Как только красные партизаны, преследовавшие греков, показались из переулков, ведущих в порт, адмирал Лежей приказал открыть огонь с кораблей. Около десятка выстрелов было сделано по пакгаузу, и он немедленно вспыхнул. Одновременно заработали и пулеметы с канонерок. Сцена была ужасная: пакгауз загорелся с молниеносной быстротой, и те из несчастных, которые, видя, что греческого ка-

<sup>1)</sup> В этом пакгаузе еще раньше были сосредоточены арестованные греками по подозрению в большевизме жители Херсона. Р е д.

раула больше лет, мыталась бежать, падала под французскими пулями.

Пакгауз догорал еще три дня спустя. На фотографии, снятой с пожарища, видна грудa обгорелых костей,—это все, что осталось от запертых там тысяч живых людей.

«Славные» французские корабли вернулись в Одессу, а еще через два дня вице-адмирал Амэ в сопровождении храброго Лежея явился на «Мамелюк» в 11 часов утра и произнес команде длинную речь. Он поздравлял матросов, открывших огонь, и закончил словами: «Вы—храбрые французские моряки, и я вас поздравляю с тем, что вы без колебания открыли огонь по банде убийц, которыми руководит кучка негодяев».

Есть от чего притти в ужас при виде всей бессовестности подобных бандитов!

«Протэ», пришедший из Севастополя, стоял бок-о-бок с «Мамелюком». Мой командир Вельфелле, с его видом сладенького прониры, слушал речь адмирала и, когда тот кончил, обратился ко мне—я, как раз в этот момент поднялся с механиками из машинного отделения:

— Хорошо говорил адмирал, как по-вашему?

— Может быть, и хорошо,—громко ответил ему я,—но не вздумайте впутать нас в подобное дело, оно может для вас плохо кончиться!

Вельфелле исчез, ни слова не говоря. Будь он посмелее, он должен был бы меня арестовать.

Канонерка «Альголь» тоже стояла рядом с «Мамелюком». Ее командира Пикара начинали беспокоить разговоры среди команды, большинство которой осуждало артиллеристов за то, что они стреляли. Тогда-то Пикар придумал недостойный маневр, чтобы возбудить среди матросов ненависть к большевикам: он приказал команде перевернуть ленты на фуражках (с названием корабля), так как большевики якобы присудили к смерти всю команду за херсонское дело. Этот грубый трюк не удался: в дальнейшем мы увидим, как матросы отомстили за бойню 9 марта и прогнали своего командира.

Через несколько дней херсонский совет сфотографировал пожарище, грудy костей несчастных жертв союзной оккупации и поле сражения. Фотографии эти существуют: на одной из них виден партизан Григорьева с содранной с лица кожей и вырезанным из груди сердцем. Снимки были отправлены международному Красному Кресту, а Чичерин в своем ежедневном радио из Москвы сообщал, что союзники вели себя, как настоящие звери, и что советская республика предлагает Красному Кресту спешно отправить на место комиссию и убедиться, в чем заключалась «деятельность» Франции на юге России.

Разумеется, никакая комиссия никогда не приехала, а союзное командование имело еще нахальство поручить военному фо-



тографу сделать снимки с города. Таким образом, у французских генералов есть снимок развалин Херсона, и эта фотография свидетельствует об их низости: ведь они,—как, например бывший министр Роберти,—утверждают, будто «французский флот никогда не стреляет по незащищенным городам», а, между тем, имеющиеся у них снимки иллюстрируют их подвиги и категорически опровергают их заявления.

Во время наступления красных партизан на Херсон союзное командование сделало попытку использовать германские войска для диверсии из Николаева.

В Николаеве было около 15.000 немцев (15 дивизия ландвера и другие части) с многочисленной легкой и тяжелой артиллерией под командой генерала Зака. Там же стоял еще добровольческий офицерский батальон и греческие части.

Немцев попытались ввести в боевую линию, они отказались. 6 марта их пришлось посадить на греческие транспорты, направляющиеся во французские колонии. Но еще до выхода транспортов на море, на одном из них вспыхнул мятеж. Германские солдаты захватили пароход и потребовали, чтобы их оставили в Николаеве до отправки в Германию.

Тогда, по просьбе союзного командования, рабочий совет Николаева телеграфировал в Харьков (столица Украины) с просьбой предупредить, кого следует, в Берлине, что германские части Николаева требуют немедленной репатриации.

Греки были совершенно разгромлены, а союзное командование так пало духом, что отчаялось защищать Николаев. Красные захватили в Херсоне 6 тяжелых орудий, более 100 пулеметов и 700 винтовок. У греков было 200 убитых и масса раненых. Наконец, 62 греческих, французских и немецких солдата перешли к красным, об'явив себя большевиками.

Одновременно с наступлением на Херсон Григорьев под давлением своих партизан об'явил, что идет и на Николаев, предложив защитникам последнего очистить город до его прихода. 5 марта он сделал попытку наступления, но был отбит огнем союзной эскадры. На другой день совет рабочих депутатов Николаева выпустил воззвание, в котором говорилось о захвате власти пролетариатом. В ответ на это союзные власти предупредили, что каждая попытка восстания будет подавлена силой оружия. Это не помешало, впрочем, лейтенанту Рубе, офицеру французского штаба, заявить 8 марта: «Мы будем, не вмешиваясь в политику, охранять город от каждой попытки вооруженного захвата».

11 марта рабочий совет Николаева вступил при посредстве германских военных властей в переговоры с союзным командованием о сдаче города Григорьеву. Контр-адмирал Эксельманс сначала тянул переговоры, но в конце концов решил не защищать город.

Совет рабочих депутатов немедленно выпустил воззвание, призывая население соблюдать спокойствие и дать союзникам возможность беспрепятственно эвакуировать город. 12 марта Григорьев торжественно въехал в Николаев и в своем приказе № 1 (опубликованном 15 марта) об'явил, что власть в городе перешла в руки революционного пролетариата и крестьян-незаможников.

14 марта на борту крейсера «Брюи» делегат николаевского совета, представитель советского правительства Украины, имел продолжительную беседу с контр-адмиралом Эксельмансом.

Адмирал чрезвычайно интересовался общим настроением в России, советским строем и, в особенности, учением коммунизма. Он несколько раз повторял, что коммунистами руководят немцы. Делегату, разумеется, ничего не стоило доказать своему собеседнику, что у германского империализма нет злейшего врага, чем российская коммунистическая партия, и что спартаковская революция в Берлине в ноябре 1918 года была вызвана распространением большевизма. Что же касается настроения масс, то адмирал самолично мог в нем убедиться, учтя то, что происходило в Николаеве, где партизанов Григорьева встречали с распростертыми об'ятиями.

Не подлежит сомнению, что это свидание, о котором было сообщено правительству, а также мятеж в 176 полку и брожение среди команды «Брюи», существенно способствовали изменению планов адмирала. Вот почему военные силы, вышедшие уже из Одессы в Очаков с заданием отбить Херсон и Николаев, повернули обратно. Красное кольцо сжималось вокруг Одессы.

### **В Крыму и в Севастополе.**

22 ноября 1918 года союзная эскадра в составе 22 единиц пришла в Севастополь. Через несколько дней она ушла дальше, в Новороссийск, оставив в Севастополе несколько кораблей.

Германские войска грузились на транспорты и эвакуировались по мере того, как происходила высадка английских, французских и греческих солдат.

Начальником гарнизона и комендантом города был назначен французский подполковник Труссон. С прибытием французов правительство Сулькевича было распущено, а городская дума восстановлена в своих прежних правах, также, как и национальное правительство «кадета» С. Крыма.

В состав правительства входило несколько социалистов-революционеров и, кроме того, Барк, бывший царский министр финансов.

Правительство это подчинялось генералу Деникину. Впрочем, последний, оперировавший в районе Дона и Кубани, не мог осуществлять действительной власти над Крымом при помощи правительства, совершенно не имевшего денег и не пользовавшегося доверием трудящихся масс.

В январе 1919 г. в Севастополь пришел французский линейный корабль «Мирабо», и рабочие тотчас же начали завязывать сношения с французскими матросами. Среди последних стала развиваться нелегальная работа под руководством комитета партии и при содействии севастопольского профессионального союза печатников, много сделавшего для пропаганды. Конечно, на первых порах приходилось наталкиваться на недоверчивость, но затем случай тесно сблизил французских матросов и русских рабочих.

В конце января, во время сильной снежной бури, командир «Мирабо», опасаясь, как бы броненосец не бросило на берег, попытался выйти из рейда в открытое море. Попытка окончилась плачевно,—«Мирабо» сел на камни в Константиновской бухте и очутился в очень тяжелом положении: машины залило водой, и корабль не мог сам управляться.

Когда об этом стало известно на других кораблях, матросы не скрывали своей радости. Даже на «Протэ», где команда вообще была одна из наименее сознательных, некоторые матросы говорили: «Тем лучше, хорошо бы, чтобы со всей эскадрой случилось то же самое, по крайней мере, им поневоле пришлось бы отправить нас домой».

Французское командование совершенно не было в состоянии снять «Мирабо» с камней своими средствами. Оно поэтому обратилось к управлению арсеналом, которое поручило работы по снятию «Мирабо» инженеру Константинову. Но последний ничего не мог сделать без согласия рабочих. Для того, чтобы уговорить рабочих, делегация от французского штаба явилась в профессиональный союз металлистов и обратилась к рабочим с просьбой о помощи.

После длительной дискуссии союз металлистов разрешил работу на борту «Мирабо», но при условии, что французский штаб даст обязательство ни при каких обстоятельствах не выступать против севастопольского пролетариата, который готовился тогда к выборам в совет и к захвату власти. Французским офицерам, раз они имеют дело с рабочими, ничего не стоило дать слово, и они его дали. Ниже мы увидим, как они его сдержали.

На другой день союз металлистов отрядил на «Мирабо» 70 лучших и надежнейших товарищей, которые и отправились на работу с карманами, набитыми прокламациями на французском, английском и арабском языках. Литература эта разбиралась матросами нарасхват.

Таким образом, установилась самая тесная связь между матросами и металлистами. Несколько позже в контакт с рабочими вошла и команда «Жан-Барта». Рабочие каждый день приходили на работу на «Мирабо» и приносили с собой брошюры и воззвания. Если же союз, по той или иной причине, не доставлял литературы, матросы настойчиво требовали своей ежедневной уместной пищи,—так она им нравилась. Впрочем, не эта литература

создала революционное настроение на борту «Мирабо»,— оно существовало и раньше,—но она давала неясным революционным стремлениям матросов конкретное содержание.

Приближалось 12 марта, и рабочие готовились к празднованию годовщины первой революции (февральской). Командант города полковник Труссон, узнав об этом, запретил какие бы то ни было манифестации, а для того, чтобы придать своему распоряжению больше веса, расставил в тактически-важных пунктах города артиллерию и пулеметы. В ответ на это профсоюз металлистов отозвал всех своих членов с «Мирабо». Такая мера произвела сильное впечатление на французское начальство, и командир немедленно отправил союзу письмо, где говорилось, что «отозвание рабочих ставит его в затруднительное положение, так как броневые плиты «Мирабо» сняты с одного борта, и кораблю, получившему сильный крен на другой борт, грозит серьезная опасность». Он просил прислать на борт рабочую делегацию, чтобы уладить конфликт.

Профессиональный союз, запросив предварительно инструкций революционного комитета, отправил на «Мирабо» депутацию из 3-х человек с инженером Константиновым. Все они были чрезвычайно любезно приняты командиром и его офицерами. Переговоры начались в присутствии всего командного состава. Два переводчика в форме французских матросов переводили речи.

Насколько командир был обычно суров в командой, настолько же он чувствовал свою зависимость от рабочих-металлистов. Он сказал приблизительно следующее:

«Граждане, вы отлично знаете, в каком положении находится мой корабль. Позвольте мне вам напомнить, что когда подобное несчастье случается в море, моряки спасают даже своих врагов, а вам прекрасно известно, что мы вам не враги. Больше того, мы пришли из самой свободной в мире страны, и наш величайший революционер, Мирабо, имя которого носит этот корабль, был одним из лучших борцов за французскую республику».

Товарищ Горячко ему ответил:

— Должно-быть, ваш революционер идет с нами против капиталистов и помещиков как раз тогда, когда вы выступаете против рабочих, стремящихся установить рабочую власть. Вот почему ваш «Мирабо» разбился о камни и не желает больше участвовать в борьбе против рабочих.

Реплика эта произвела на командира и его офицеров впечатление холодного душа. И все они наперебой стали уверять, что «тут недоразумение», что «никто не собирается воевать с русским народом» и проч. и проч.

Наконец, после долгих споров, рабочие решили возобновить работу на следующих условиях: приказ, запрещающий манифестации, отменяется, пулеметы должны быть убраны, вся команда корабля должна быть оповещена о решении рабочих и об его мотивах.

Командир согласился, так как прежде всего хотел снять корабль с камней и избежать суда. Поэтому он собрал команду и передал ей суть только-что закончившихся переговоров. Он ясно дал понять, что севастопольские рабочие признавали только один советский строй.

Делегация заявила, что вполне удовлетворена. Когда члены делегации сходили на берег, один из матросов потихоньку показал им несколько прокламаций и шепнул: «большевик».

Полковник Труссон убрал пулеметы, и работы на «Мирабо» возобновились.

К сожалению, не было никакой возможности войти в контакт с англичанами и греками.

В это время совет профсоюзов Севастополя находился в руках меньшевиков. Но, под давлением рабочей массы, 20 марта в цирке Труцци было созвано общее собрание металлистов. На этом собрании должен был быть заслушан отчет о переговорах с крымским правительством по вопросу о заработной плате, которая редко выплачивалась в срок.

Собрание прошло бурно, и после прений была принята резолюция, требующая немедленной эвакуации Севастополя союзниками под угрозой забастовки. Вопрос о забастовке, впрочем, оставался открытым до общего собрания делегатов профсоюзов, которые должны были установить дальнейшую тактику.

Это общее делегатское собрание состоялось 23 марта. Социалисты-революционеры и меньшевики выставили своих лучших ораторов, энергично выступавших против забастовки. Их часто прерывали презрительными возгласами.

Когда же заговорил представитель коммунистической фракции, настала полная тишина, а заключительные слова оратора были покрыты бурными рукоплесканиями.

83 голосами против 7 общее собрание рабочих делегатов потребовало немедленного об'явления всеми профсоюзами забастовки под руководством тут же избранного тайного забастовочного комитета из 7 человек.

Забастовка началась 24 марта и охватила все предприятия, за исключением водопровода, электрической станции и больниц. Требования были следующие: немедленная эвакуация союзных войск и передача власти совету.

На второй день забастовки были арестованы товарищ Городецкий и 6 других рабочих, которых власти считали членами стачечного комитета. Через час после ареста забастовочный комитет в знак протеста постановил распространить забастовку и на небастующие предприятия. Жизнь в городе замерла совершенно.

Как и в Одессе, союзные власти были поражены силой и мощью рабочих организаций. Полковник Труссон немедленно распорядился вернуть семерых арестованных товарищей, которых успели

уже перевести в Симферополь. Более того, он разрешил открытое существование военно-революционного комитета при условии, что слово «военный» будет вычеркнуто.

Тогда забастовка закончилась (28 марта), и был избран революционный комитет из пяти рабочих. Действуя полулегально, комитет приступил к организации власти и к установлению связи с отрядами товарища Котова, один из которых оперировал в районе Балаклавы.

Апрель наступал в обстановке лихорадочной революционной работы.

АНДРЭ МАРТИ.

*(Продолжение в следующем номере.)*

#### ПОПРАВКА.

В статье А. Марти—„Черноморское восстание“, помещенной в № 2 „Нового Мира“, в главе о Бадина вкралась досадная опечатка: вместо фразы: „имел уже сравнительно высокий технический чин“ следует читать: „имел сравнительно высокие технические познания“.

# Куда мы идем?

Х. Р.

**Н**е говоря о побежденных странах, которые возлагают свои надежды на новую войну, как на свою избавительницу и тайно и явно призывают эту избавительницу (как делал когда-то Мицкевич, после поражения польского восстания), рассчитывая, что только она может снова изменить карту мира,—тревожной мыслью о будущей войне охвачены публицисты и общественные деятели и стран-победительниц. Постоянно возникающие предложения о созыве конференций по разоружению, из которых последнее исходит от правительства Северо-Американских Соединенных Штатов; известный женеvский протокол, подписанный прошлым летом на сессии Лиги Наций, но так и не добившийся ратификации, благодаря сопротивлению Англии, публикуемые во французской печати рассуждения о безопасности Франции, о необходимости новых гарантий со стороны Германии, о необходимости заключения гарантийного договора с Бельгией и с Англией,—все это говорит о том, что и общественные круги и правительства даже стран-победительниц не очень уверены в прочности тех отношений, которые созданы так называемыми мирными договорами. Такое же беспокойство проявляет и английская периодическая печать. Характерна в этом отношении статья, появившаяся в известном английском журнале «Нейшн Ревью» за ноябрь прошлого года, под заглавием «Куда мы идем», автором которой является лорд Нортумберленд, издатель правого консервативного органа «Морнинг Пост».

«История не знала,—пишет автор этой статьи,—более трагической потери времени, чем та, которая имела место в течение последних 6 лет. Никогда в мировой истории не было группы народов, которые имели бы в своих руках такие козыри, какими располагали союзники после войны. Сколько можно было бы сделать, если бы союз продолжал существовать не на бумаге, а в виде военных и морских соглашений! Какое благотворное влияние могли бы они оказать на весь мир, какую большую безопасность могли бы они ему обеспечить! Мы могли бы считать, что в будущем мир в Европе обеспечен, по крайней мере, на 50 лет, тогда как теперь было бы большой смелостью решиться пророчествовать, что мир будет сохранен хотя бы на 10 лет».

На первый взгляд такие заявления должны поражать. В истории не было примера, когда победители могли так неограниченно диктовать побежденным условия мира, как это было после великой империалистской войны. Казалось бы, в их руках находились все средства, чтобы создать такое положение вещей, которое, по меньшей мере, было бы настолько же устойчивым, насколько устой-

чивым было положение в Европе, создавшееся после поражения Наполеона при Ватерлоо и продолжавшееся до революции 1848 г. Однако, оказалось, что игроки, имевшие в своих руках такие великолепные козыри, в конце концов, оказывались обыгранными. Копаясь теперь в том, кто из них в этом прав и кто виноват, они взваливают вину друг на друга. Но факт тот, что еще не высохли чернила их подписей на различных договорах, как каждый из них стал формально или фактически стремиться к пересмотру этих договоров. Даже та из стран-победительниц—Франция,—которая являлась самой ярой сторонницей договоров, 4 года спустя после заключения Версальского договора внесла в него изменения не острием пера, а острием штыка, занявши Рурскую область и, таким образом, поступив и против буквы договора и против его духа. Однако, и эти изменения не помогают. Несмотря на громадное увеличение территорий государств-победителей, представители их общественного мнения считают, что цель, ради которой была затеяна война, не только не была достигнута, но, наоборот, в результате войны создано новое, угрожающее их интересам, международное положение. Это сознание находит свое выражение на страницах английской периодической печати. В ноябрьском номере «Фортнайтли Ревью» напечатана статья за энигматической подписью *Авгур*, под заглавием: «Драконовы зубы». Под этим заглавием красуется характерное мотто, взятое из греческой мифологии: «Язон посеял драконовы зубы, из которых выросли закованные в латы воины, вступившие в бой и перебившие друг друга».

Очень вероятно, что ни одно из участвовавших в войне государств не считало, что оно достигнет своих целей на все 100%, но каждое из них было убеждено, что в результате победы оно усилит свой авторитет, свою власть, свою хозяйственную и политическую мощь и укрепит господствующий в нем общественный порядок. Но оказалось, что из посеянных ими побед на всех полях Европы, Азии и Африки выросли новые трудности, более сложные и опасные, чем те, с которыми приходилось бороться накануне мировой войны.

Авгур негодует не на дипломатов (очевидно, у него к ним есть близкое отношение), он негодует на «демагогов», благодаря которым в результате войны Англия оказалась ослабленной и в своих внутренних, и в своих международных отношениях, и в своих отношениях с доминионами и колониями. Вот что пишет Авгур:

«И вот наши политические миссионеры проходят север и восток, запад и юг, сея драконовы зубы. Они раздражают доминионы, роняют престиж Англии в Индии, колеблются перед Египтом, раболепствуют перед Советами, затирают Польшу. То они все выступают за Лигу Наций, то они же не хотят ее знать. Они одновременно и сильны и слабы, тверды в данный момент—и сдают через минуту. У них высокие принципы—и низкие побуждения, великие идеи—и бессилие их выполнить. Они благородно говорят о строительстве—и с восторгом предаются разрушительной работе. Одного лишь у них нет—твердой линии созидательной политики.

«Сеяние драконовых зубов не ограничивается областью внешней политики: внутренние дела у нас обстоят также плохо. Если бы позволило место, можно было бы исчислить томы о взаимоотношениях внутри империи. И, конечно, если могущественный британский союз народов существует, то потому лишь, что союз этот в высокой степени обладает живучестью и питается расовым инстинктом, который трудно разрушить политическим миссионерам. Сами же мы не



можем сослаться на то, что делаем что-либо полезное для охрания и укрепления империи. Мы грешим против нее ежедневно, и наши враги ждут вокруг нас того, что произойдет.

«Мы просто сеем драконовы зубы и вовсе не думаем о грядущих всходах. Мы сеем их за границей, мы сеем их в пределах империи, мы сеем их у себя дома».

Мы не будем здесь разбирать, какое об'яснение правильнее,—то ли, которое дает лорд Нортумберленд или Авгура: для нас важно установить, что они оба одинаково констатируют наличие одного и того же факта.

Посмотрим теперь, как на самом деле стоит вопрос о внутренних и междуна-родных отношениях капиталистических государств, а также, как сложились их отношения с их заморскими владениями в пятилетие, следовавшее после войны.

Прошлый 1924 год в хозяйственном отношении был одним из самых благоприятных. За последние 7 месяцев—с 1 июля 1924 г. по 31 января 1925 г.—вывоз С. Штатов составлял 2.948 милл. долларов, а ввоз 2.106 милл. долл. Таким образом, получается колоссальный активный торговый баланс в 838 милл. долларов. В январе вывоз из С. Штатов составил 447 милл. долларов, а ввоз—346. Мы не располагаем в данный момент цифрами относительно торгового баланса Италии и Франции, но он также активен. Торговый баланс Англии за весь 1924 год кончился пассивом в 344 милл. фунтов стерлингов, но английские экономисты указывают, что этот пассив полностью покрывается так называемыми невидимыми доходами Англии: доходами от ее капиталов, хранящихся за границей, доходами от ее торгового флота и доходами от заграничных операций ее страховых обществ. Этот невидимый доход в 1923 г. достиг цифры в 300 милл. фун. стерлингов, а в 1924 г., по первому предположению, считался в 330 милл. фунтов стерлингов, а по последним проверенным сведениям, дошел до 370 милл. фунтов стерлингов. Кроме того, английские газеты указывают, что английской промышленностью, в частности, текстильной, было закуплено большое количество сырья на американском рынке для будущей кампании, в виду поднятия производств, и что этим об'ясняется, до известной степени, пассивный торговый баланс Англии.

Как на благоприятные моменты английской хозяйственной жизни, указывают, во-первых, на восстановление производства текстильной промышленности, в которой теперь остались незанятыми всего 7% веретен. Производство тканей с 4.100 милл. квадратных ярдов в 1923 г. поднялось до 4.400 милл. кв. ярдов в 1924 г. Во-вторых,—на увеличение цифры займов для доминионов и для иностранных государств, которые котировались на лондонской бирже в течение прошлого 1924 г., тогда как в 1920 г. Англия ссудила за границу всего 19.000.000 фунтов стерлингов. В дальнейшем эта цифра постепенно возрас-тала—до 24.890.000 в 1921 г., 59.683.000 в 1922 г., 48.282.000 в 1923 г. и 60.721.000 в 1924 г. В 1920 г. доминионам и британским колониям было дано займов на 40.630.000, в 1921 г.—90.831.000, в 1922 г.—75.517.000, в 1923 г.—86.928.000 и в 1924 г.—73.502.000 ф. с. Эти цифры, взятые из годичного финансового отчета «Таймса», указывают на увеличение экономической активности Англии за 1924 г. и вообще на возрастание свободных капиталов в Англии.

Третьим благоприятным моментом английской хозяйственной жизни является быстрое поднятие фунта стерлингов. Он стоил 4 долл. 20 цент. в начале

1924 г., а к концу того же года поднялся до 4 долл. 80 центов. Хотя за последние дни фунт опять пошатнулся на 2 цента, но явление это чисто временное, и нет никаких сомнений, что в течение 1925 г. английский фунт, который, как уже говорят, «смотрит доллару в лицо», дойдет до полной своей довоенной стоимости, и Англия вернется к золотому обращению.

Такое стабилизирование валюты замечается и в других странах. Многие из них уже ввели у себя устойчивую валюту, в том числе Балтийские государства и Польша. Французский франк колеблется, и, хотя для его укрепления французское правительство делает периодические займы, тем не менее, за последние месяцы фунт стерлингов стоил от 80 до 90 франков.

Другой, чрезвычайно существенный, момент—это полное или частичное восстановление тех финансовых путей, связей и узлов, которые существовали до войны. Например, такой важный финансовый узел, как Вена. Несмотря на разгром Австро-Венгерской империи и на то, что Вена потеряла свое значение административного центра громадного государства, она более чем наполовину восстановлена в своем довоенном финансовом значении. Кроме того, английские, французские, итальянские, американские и германские банки или крупные банкирские фирмы открыли свои новые филиалы в Праге, в Варшаве, а также укрепили существовавшие еще до войны свои отделения, или открыли новые—в Белграде, Софии, Бухаресте, Афинах, Константинополе. Через эти филиалы каждая из вышеупомянутых стран вошла в местную промышленность—горную, металлургическую, химическую, фарфоровую, табачную, сахарную, нефтяную (за овладение румынской, восточно-галицийской и, наконец, албанской нефтью ведется борьба между американским капиталистом Блэром, которого обвиняют в финансировании последнего албанского восстания, английской нефтяной фирмой Шелль и итальянским капиталом, который протестует против того, что он в операциях с албанскими нефтяными залежами был обойден). Значение этих финансовых связей колоссально не только с точки зрения эксплуатации богатств Юго-Восточной Европы и Балкан, но и с точки зрения известного базиса для распространения действия международного капитала на Ближний Восток вообще.

Наконец, многие из тех специфических послевоенных трудностей, на которые натолкнулся после войны международный капитализм, в том числе и все так называемые демобилизационные настроения, грозившие тогда в связи с восходящим периодом русской революции существованию самого буржуазного общества,—отчасти или полностью ликвидированы.

Посмотрим теперь на обратную сторону медали, и начнем с Англии. Хотя английский вывоз сильно увеличился и приближается к довоенным размерам, тем не менее, если считать, что за этот период население Англии увеличилось на 2 милл., он относительно остается еще гораздо ниже довоенного уровня. Среднее число безработных за январь 1925 г. доходит до 1.350.000 человек, то-есть на 50.000 человек больше, чем за тот же период прошлого года. На содержание этих безработных английская казна и английские муниципалитеты продолжают тратить в год от 800 милл. до 1 миллиарда рублей. Только ценой такой громадной траты, составляющей почти половину нашей государственной сметы, английскому капиталистическому классу удается устранить те острые конфликты между трудом и капиталом, которые были бы поминуты без существования закона о страховании против безработицы.

Если некоторые отрасли английской промышленности, как, например, текстильная, о чем уже говорилось выше, за прошлый год сильно восстановились, и средняя рабочая неделя с 26 часов в 1923 г., когда рабочие должны были работать только часть недели, чтобы не остаться совершенно без работы, поднялась до 38 с половиной часов в 1924 г. (до войны рабочая неделя была 46 часов), то другие отрасли промышленности, например, добыча угля, за последний год сильно упали. В 1923 году, вследствие занятия Францией Рура, Германия была вынуждена покупать уголь в Англии, для какой цели немецкая промышленность даже сделала в Лондоне заем в 3 милл. фунтов стерлингов. В 1924 г. добыча угля в Германии дошла до своих довоенных размеров, поэтому вывоз английского угля с 79 милл. тонн в 1923 г. упал до 62 милл. тонн в 1924 г. Такое же уменьшение дает и металлургическая промышленность. В 1923 г. в Англии работало 204 доменных печи, в 1924 г.—167. Соответствующим образом упал и вывоз чугуна—с 3.853 тыс. тонн до 3.353 тыс. тонн, т.-е. на полмиллиона тонн. Одновременно нужно отметить вздорожание сельскохозяйственных продуктов в Англии в два раза вследствие большого неурожая не только у нас, но и в Канаде, и частичного неурожая в С. Штатах.

Если теперь перейдем к Франции, то достаточно будет подчеркнуть следующую цифру. После присоединения к Франции Эльзаса и Лотарингии, французская металлургия должна производить в год, примерно, от 11 до 12 милл. тонн чугуна. Внутри у себя Франция может потреблять только половину этого количества, другую же половину она должна сбывать за границу, что ей далеко еще не удастся.

Итальянская металлургическая и транспортная промышленность, несмотря на отсутствие у Италии и железа и угля, сильно развилась после войны. Италия умело использовала свое выгодное положение: внутреннее политическое положение в Германии, в частности, занятие Рура, устранило на известное время Германию с мирового рынка, как опасного конкурента, Франция была поглощена восстановлением своих северных разрушенных областей, а Англия вследствие своей высокой валюты являлась также неопасным конкурентом. Но развитие итальянской промышленности далеко не может поглотить то колоссальное перенаселение, которое являлось характерным для Италии еще накануне мировой войны, когда каждый год сотни тысяч рабочих и крестьян эмигрировали в другие европейские страны или в Америку. Эмиграция в Америку была искусственно приостановлена, а эмиграция в европейские страны, кроме Франции, сделалась невозможной вследствие общего состояния экономической жизни Европы.

Та же самая проблема, проблема эмиграции, но в еще гораздо более острой форме, стоит перед Японией, которая должна или найти для своего излишка населения новые территории в Америке, Австралии или на азиатском побережье (кроме Сибири, где японская колонизация по климатическим условиям провалилась), или же настолько поднять свою промышленность, чтобы внутри у себя найти заработок для излишка населения. Но эта последняя задача невыполнима.

Все эти факты показывают, что до сих пор вся работа капитализма после войны заключалась в том, чтобы с большими усилиями приблизиться к довоенному уровню производства (это не относится к С. Штатам и к Японии). Но главные трудности для капитализма настанут именно тогда, когда этот довоенный

уровень будет достигнут, когда капитализм вынужден будет для своего дальнейшего развития искать новых потребителей, новые рынки. Именно в этот момент обостряются международные противоречия капиталистического производства.

В английской периодической печати, например, в письме из Берлина, помещенном в вышеупомянутом номере «Форсайт и Ревью», уже бьют тревогу по поводу той опасности, которую начинает снова создавать германская промышленность для развития английской промышленности. Берлинский корреспондент этого журнала, напоминая о произнесенных недавно германским министром торговли и промышленности в рейхстаге, обращенных к германским промышленникам, словах «Hinein in die Weltwirtschaft»\*), указывает, что германская промышленность поставила перед собой задачу выбрасывать на международный рынок гораздо больше товаров, чем она это делала до войны.

Но тогда возникает вопрос: для чего же велась война, если оказалось, что одна из главных целей, ради которой эта война была начата—устранить Германию с мирового рынка или, во всяком случае, относительно ее обезвредить—не была достигнута?

Известно, что английское общественное мнение приписывало причины войны именно стремлению Германии стать первым промышленным и торговым государством и для этой цели захватить у Англии владение морями и даже захватить часть ее колоний. Со своей стороны, немецкое общественное мнение приписывало Англии маккиавелистскую военную политику. Оно обвиняло Англию в том, что либеральное правительство Асквита-Грея нарочно скрывало свои намерения и даже проявляло пацифизм до того момента, когда война стала совершившимся фактом, боясь, что если Германия будет уверена в том, что Англия будет участвовать в войне против нее, то война не разразится. Англии была нужна война, чтобы избавиться от германской конкуренции, поэтому германская печать долго обвиняла Англию, как зачинщицу войны. В английской печати и теперь вспоминают, какими проклятиями германская печать осыпала Англию во время войны, и, в частности, на столбцах германской печати часто встречалось пожелание: «господи, покарай Англию». Между тем, в результате войны оказалось, что союзники должны сами помогать восстановлению германской экономической мощи, раз они возложили на нее платеж годовых репараций, которые в течение пяти лет—1925—1929 гг.—с миллиарда золотых марок должны дойти до  $2\frac{1}{2}$  миллиардов золотых марок в год. Союзники должны дать Германии возможность найти эти деньги, единственным источником получения которых может быть развитие германской торговли. Для этой цели Германия должна иметь активный баланс, превышающий в 2 и более раз репарационные платежи. В конце 1925 г. Германия должна будет вывозить на 5 или 6 миллиардов золотых марок больше, чем она будет ввозить. Но где же она будет сбывать свое колоссальное производство? Прежде всего, конечно, в тех странах, где потребление промышленной продукции высоко, т.-е. хозяйственно развитых странах, как Англия. Правда, многие английские экономисты утешаются соображением, что то, что может потерять Англия от промышленного развития Германии, она компенсирует общим восстановлением хозяйственной жизни мира и соответствующим увеличением английского вывоза. Но это успокоительное лекарство существовало и до войны, а, между тем, оно оказалось недействитель-

\*) „Лицом к мировому хозяйству“!

ным. Собственники тяжелой индустрии и английских копей не утешатся тем, что английская текстильная промышленность будет вывозить больше, чем она вывозила до войны. Правда, французы, чтобы заручиться поддержкой английского капитала в создании франко-немецкого металлургического концерна, предлагают и английскому и американскому капиталу участвовать в нем в роли пайщиков. Но если даже английские капиталисты примирились бы с той незначительной долей, которая им уделяется в этом концерне, от этого внутренне-хозяйственный кризис в Англии отнюдь не был бы устранен, и английская металлургическая промышленность продолжала бы падать.

Конкуренция между капиталистами различных стран фатально должна обострить внутри каждой страны отношения между трудом и капиталом. Для того, чтобы конкурировать, продукты должны быть дешевы и, прежде всего, должен быть дешев труд. Общая жалоба, идущая со страниц не только экономической, но и политической печати в Англии—на высокие издержки английского производства. Борьба против профессионального движения является уже фактом. В глазах английских капиталистов профессиональные союзы являются причиной того, что квалифицированные рабочие равняются в производстве по интенсивности труда по неквалифицированным, а не наоборот. Требование уменьшения заработной платы, несмотря на вздорожание жизни и увеличение рабочего дня—повсеместно. Наоборот, со стороны профессиональных союзов идут встречные требования, и, несомненно, что ближайшая стадия хозяйственного развития капиталистических стран будет ознаменована крупнейшими конфликтами между трудом и капиталом.

Посмотрим теперь, как обстоит дело с международными отношениями. И в этой области в течение последних пяти лет капиталистические правительства проредали известную работу для укрепления международных отношений. Формально многие спорные вопросы—вопрос о Верхней Силезии, Восточной Галиции, о Виленщине, о Тешене (установление границы между Чехо-Словакией и Польшей), о Фиуме, о границе Албании с Юго-Славией и Грецией—были решены и спяты с повестки дня международных конференций. Остается неразрешенным еще ряд вопросов: о Моссуле, об испанском Марокко (при предположении, что Испания рано или поздно должна будет очистить Северную Африку), о междусоюзных долгах, а также ряд вопросов, связанных с балканской и азиатской проблемами, в частности вопрос о Китае.

Мы видели из приведенных в начале статьи цитат, что, несмотря на все дипломатические успехи, общественное мнение капиталистических стран смотрит чрезвычайно тревожно на будущее. Дело в том, что многие из этих решений имеют чисто временный характер, а кроме того они не устраивают того глубокого исторического противоречия, которое было создано так называемыми мирными договорами между народами-победителями и народами-побежденными. Именно это противоречие предreshает будущую политику капиталистических государств. Каждый понимает, что, несмотря на Женевский протокол, если к нему даже удастся привлечь и Германию, это основное противоречие не только не будет устранено, но будет увеличиваться по мере того, как побежденные капиталистические государства будут восстанавливать свои силы. Все сознают, что для побежденных капиталистических государств так же нужна передышка, как и для победителей, и что после того, как побежденные постепенно восстановят свои силы, они будут стремиться изменить то положение ве-

щей, которое раскромсало их территории и превратило их хозяйственно и политически в вассальные государства. Весь вопрос в том, сколько времени будет длиться эта передышка. Лорд Нортумберленд считает, что она не затянется больше, чем на 10 лет.

Однако, американские публицисты считают, что ближайший мировой конфликт разыграется не на территории старого, истощенного, относительно обезлюдевшего, европейского континента, а далеко на Востоке. Характерной в этом отношении является статья товарища председателя морской лиги С. Штатов Гардинера, помещенная в ноябрьском номере «Фортпайтли Ревью» под заглавием: «Англия и С. Штаты на Дальнем Востоке». Гардинер исходит из предположения общности интересов этих двух мировых держав и из глубокого антагонизма, который существует там между их интересами и интересами Японии. Он указывает на постоянные вооружения Японии, которая использовала, по словам Гардинера, проект решения английского консервативного кабинета в 1923 году о постройке Сингапурской базы, чтобы ассигновать 75 милл. на свой воздушный флот и 150 милл. на постройку легких крейсеров (постройка больших военных линейных судов была запрещена на основании решения Вашингтонской конференции). Хотя впоследствии английское рабочее правительство отменило это постановление предшествовавшего консервативного правительства\*), но, по словам Гардинера, японская дипломатия создала тогда инцидент в связи с вопросом об эмиграции желтых в Америку, чтобы оправдать перед японским общественным мнением вышеприведенные ассигновки. Американский публицист исходит из предпосылки, что Японии некуда девать ни своего населения ни своих продуктов, что она задыхается на своих островах, и что ей, рано или поздно, придется искать радикального решения этого вопроса. Он обвиняет, наконец, Японию в том, что своей обычной методичностью она стремится к овладению всеми морскими путями от Японского моря до Индийского океана. Для этой цели Япония создала у себя крепкие базы для морского и воздушного флота и после землетрясения ассигновала средства на восстановление или новую постройку пяти таких баз.

Посмотрим, наконец, и на третий момент, о котором говорит Август в своей статье, а именно: на отношения между капиталистическими государствами и их заморскими владениями. В приведенной выше цитате, поскольку идет речь об Англии, он говорит, что сохранение связи между метрополией и ее доминионами и колониями отнюдь не является результатом войны, а существует наперекор войне. Недавно «Таймс» в ряде статей, которые резюмировал т. Радек в «Известиях» в международном обозрении, указывал на ту новую эволюцию внешних отношений Англии с доминионами, которая началась еще с Версальской конференции, где доминионы фигурировали наряду с Англией, как отдельные юридические лица. Стремление и английских и французских колоний к самостоятельной жизни является также несомненным фактом, и не нужно, конечно, это стремление приписывать ни пропаганде III Интернационала ни интригам советской власти, а тому экономическому развитию, которое началось в колониях еще до войны и чрезвычайно усилилось во время и после войны. Для иллюстрации этого достаточно будет мне привести следующие места из годичного отчета английского национального провинциального банка:

\*) Новый консервативный кабинет приступил к осуществлению постройки Сингапурской базы. Ред.

«Конкуренция нашей текстильной продукции со стороны стран, которые до войны зависели в большей части от Европы, продолжает расти. Количество веретен и в Индии и в Китае находится в постоянном росте. Тот же самый процесс имеет место и в Южной Америке. В частности, можно считать, что около 80% хлопчатобумажных товаров, потребляющихся в Бразилии, производится в этой стране. Количество веретен в Бразилии с 1905 г. больше, чем удвоилось... Хотя наша торговля с Индией значительно улучшилась, но и здесь местное производство конкурирует с нами... Кроме того, в Индии мы наталкиваемся на значительную конкуренцию со стороны Японии. Тогда как в 1922—1923 г. участие Англии в торговле с Индией составляло 91%, а участие Японии—7%, в 1923—1924 г. участие Англии упало до 89%, а участие Японии поднялось до 8%».

Тайна стремления колоний и доминионов к политической и хозяйственной самостоятельности заключается в развитии местного капитализма, которое на известном его этапе происходило при помощи самого английского капитала.

Наконец, крупным историческим фактором, чрезвычайно усложнившим и внешнее и внутреннее положение капиталистических государств, явилась Октябрьская революция в России и появление Советского Союза. Лорд Нортумберленд говорит, что Октябрьская революция и мировая война являются в истории человечества самыми величайшими событиями со времен падения Римской империи.

В чем значение Октябрьской революции? Не говоря о том идейном воздействии, на что обыкновенно указывают, которое оказала Октябрьская революция на широкие народные массы всех континентов, падение царской и буржуазной России и замена ее Советским Социалистическим Союзом внесли фактическое изменение в существовавшее ранее соотношение сил в Европе и в Азии. Это обстоятельство помешало осуществлению заключенных до и во время войн договоров, касавшихся формального или фактического раздела больших азиатских стран. Если бы этот раздел осуществился, капитализм, несомненно, обеспечил бы себе рынки и спокойное существование на десятки лет (лорд Нортумберленд предполагает, что на 50 лет). Но то обстоятельство, что в тылу Турции, Персии, Афганистана, Китая, вместо царской России, которая стремилась бы к захвату их территорий, оказалось государство дружественное, послужившее им опорой, предрешило дальнейшую историю Азии. Освободившись от одного противника, восточные народы могли бы уже с шансами на успех бороться против других своих противников, и капиталистическому миру, таким образом, приходится теперь, при совершенно новой обстановке, с величайшим трудом стремиться к достижению той второй цели—захвату азиатского рынка,—из-за которой началась мировая война.

Другое отрицательное последствие Октябрьской революции для развития капитализма заключалось в том, что она помешала ему превратить и Россию в фактическую колонию. Царская или буржуазная Россия, даже если бы в результате войны она захватила большие азиатские территории и такой стратегический и экономический пункт, как Константинополь, при своей задолженности, которая во время войны дошла до неслыханных размеров, при своем внутреннем экономическом положении, оказалась бы после войны в положении в десять раз худшем положении Франции-победительницы, которая, несмотря на свои победы, должна считаться с волей лондонской и нью-йоркской бирж.

Вот главные моменты, определяющие теперешнее международное положение. Буржуазные публицисты ищут выхода из этого положения. Правые элементы и в Англии и во Франции считают, что выходом из него является создание крепкого англо-французского союза. Только таким путем, думают они, можно укрепить мир. Другие, идущие дальше, предлагают включить в этот союз и Германию. Такой союз, в силу об'ективного хода вещей, будет направлен против Советского Союза. Характерно, однако, что именно в английской печати все больше раздаются голоса против традиционной политики Англии, против политики «великолепной изоляции». Что касается укрепления мира на Дальнем Востоке—рекомендуемый здесь рецепт заключается в укреплении англо-американского блока.

По отношению к Советскому Союзу эти правые английские элементы проведут борьбу не на жизнь, а на смерть. Промышленные круги буржуазии и рабочий класс, поскольку он выступает в Англии, как самостоятельный политический фактор, исходя также из общей линии английской политики, выдвигают линию компромисса. Исходя из различной иностранной политики Англии и Советского Союза, определяемой их различной социальной структурой, нужно искать все те пункты соприкосновения, которые позволили бы перебросить мост между Англией и Социалистическим Советским Союзом. Укрепление мира будет зависеть от того, какая из этих двух линий победит.

Х. Р.

---



## И. Эренбург и современность.

*Д. Горбов.*

**В**еликий писатель Жюль Лебо жил в особняке на тихой улице Сент-Пер, облюбованной антикварами и букинистами... Жюль Лебо был стар, все чаще он чувствовал замирание и дурноту, ноги его отекали, и жить ему оставалось немного»...

«Жюль Лебо весь день сидел в кабинете, кутая ноги в плюшевый шпед, и писал. Он знал, что скоро умрет, и поэтому спешил. Он хотел закончить еще одну книгу»...

«Жюль Лебо заявил в одной из своих книг, что он видит всю неизбежность революции, более того, что эта неизбежность радует его»...

«Он вообще много ненавидел. Притом он ничего не любил... Он не любил и революцию. Он считал коммунистов грубоватыми и наивными людьми. Когда он слушал их разговоры о грядущем равенстве, с его желтого пергаментного лица не сходила усмешка. Но коммунисты ненавидели то, что ненавидел и великий писатель. Поэтому, умея Лебо любить, он, может быть, любил бы коммунистов. Поэтому, недавно, почувствовав при чтении газеты особенно острый приступ ненависти и отвращения, он решил передать полученные за последнюю книгу деньги тем, которые, во всяком случае, ненавидят»... (И. Эренбург: «Любовь Жанны Ней»—журнал «Россия». № 2, страницы 81—83.)

У австралийцев есть оружие—бумеранг. Изогнутая палка. Брошенная, она по достижении цели возвращается к ногам своего владельца. При неумелом обращении, может попасть в него. И вот наносящий удар становится его жертвой.

Таков образ «великого писателя» Жюля Лебо в последнем романе И. Эренбурга «Любовь Жанны Ней». Далеко не всегда, конечно, имеет право читатель отождествлять мысли и повадки лица, действующего на страницах романа, с чертами личности самого писателя. Но многие (слишком многие) образы Эренбурга на это уполномачивают. И если в иных автор выступает вовсе без грима, только причисвшись под партийца-чекиста («Николай Курбов»), под космополита-авантюриста (Енс Боот в «Тресте Д. Е.»), или даже вовсе без всякого ретуша, просто, как один из представителей артистической богемы, русский писатель в Париже, Илья Эренбург («Хулио Хуренито»),—то образ Лебо интересен именно тем, что под «желтой пергаментной» маской пережившего себя «великого писателя» молодому и писательски-энергичному автору можно высказаться всего непринужденней. Кто заподозрит, что здесь автопортрет? Кто, читая выписанные выше строки романа в целом его тексте, придет к мысли,

что этот умирающий (или уже умерший), ничего не любящий, в сущности второстепенный персонаж романа, посвященного любви, жизненной борьбе и большой политической работе, выражает художническую индивидуальность автора полнее, чем все эффектные «герои», захватывающие дух картины и головокружительные положения, созданные искусным пером многоискусного писателя. А, между тем, стоит всмотреться в этот образ пристальней. Сделать это тем легче, что он охватывается немногими вышестоящими строками целиком. И образ этот, как бумеранг, кинутый автором в ненавистную ему буржуазную культуру, стремительно вернется к своему творцу, чтобы показать, что и писательский облик последнего исчерпывается этими самыми краткими строками, несмотря на обычную пышность своих литературных выражений.

«Великий писатель» Франции живет в особняке, на улице, излюбленной антикварами и букинистами. Он окружен всевозможными идолами и другими раритетами, которыми обставлен его кабинет. Он ничего не любит. Дни его сочтены. Перед лицом надвигающейся смерти он хлопочет лишь об одном — сделать еще одну книгу.

Этот заостренный индивидуализм и это обнаженное упадочничество имеют причиной одиночество «великого писателя» в том социальном целом, к которому он принадлежит, но от которого он оторвался. Умный, удачливый представитель артистической богемы сумел выбиться в первые ряды современного ему общества. Он знаменит. Как же это отразилось на его социальном положении, которое в конечном счете неумолимо определяет психологию? И в этом отпущении ему повезло: ему удалось подняться на высшую ступень, какая только возможна для представителя богемы в капиталистическом обществе. Он стал в ряды крупного рантьерства. Придя сюда со стороны, путем долгой борьбы, сопряженной с усиленной, развивающей работой мозга, богатой многочисленными переоценками противостоящей его индивидуальным усилиям социальной среды, талантливый авантюрист (пусть, волею автора, крупный художник) не может быть удовлетворен достигнутым просто потому, что и к своему новому положению рантье он относится со стороны, оценивая его в соответствии с затраченными усилиями. Он чувствует то, чего не чувствуют подлинные рантье, «потомственные, почетные мещане», — он чует запах тления, исходящий из этого класса, так как это загнивающий класс, по своей природе (и вне зависимости от субъективной воли самих его представителей) жиреющий, а затем разлагающийся в бездействии, отделенный от активной жизни своей законной обеспеченностью, которая уже не требует ни труда ни борьбы для своего поддержания. Лебо, этот своеобразный «мещанин во дворянстве», а точнее — представитель богемы в рядах рантьеров, отравленный запахом тления, исходящим от его нового социального местоположения, переносит это отталкивающее впечатление на все общество, с которым ему пришлось иметь дело. Меньше всего он способен задать себе вопрос, насколько полон его опыт, и нет ли таких, не встреченных им в своем восхождении кверху, этажей, которые этим тлетворным запахом не заражены. Впрочем, ему уже нет времени для этого: он стар, смерть близка. И он предпочитает спастись от ужасного запаха, идя по обычной для артистической богемы линии наименьшего сопротивления: поселиться в уединенном особняке, среди антикваров и букинистов, загордиться от ненавистной действительности мексиканскими идолами и драгоценными картинами мировых гениев и писать, писать, писать повесть об обыкновенной любви

(она-то—самая изысканная и небывалая редкость для этого парвеню, улежившего жизнь на то, чтобы пролезть с мансарды во дворец жизни и попавшего в сытую мешанскую закутку).

Индивидуализм, эстетизм, археология и искусственная пастораль «обыкновенной» любви (взыскуемой обыденности, вообще)—вот очерк жизни законченного «великого писателя», покрывало Майи, старательно накидываемое им на убийственную действительность.

Но что же здесь общего с Эренбургом? Итак, бумеранг поворачивает и пускается в обратный путь!

Но прежде еще один вопрос о «великом писателе»... Не о «великом писателе в возможности» Илье Эренбурге, а о законченном (и конченном) великом писателе Жюле Лебо: каковы книги, им написанные? «Великий писатель в возможности» сообщает о литературном наследии писателя, уже великого, следующее: последнему, во-первых, принадлежит книга под заглавием «Некоторые заключения господина Бегемота», которую академия увенчала премией в восемьсот тысяч франков, но «которая по существу являлась злейшей сатирой и на академию и на многое иное, столь же дорогое сердцам членов жюри» (то-есть, на всю буржуазную культуру в целом). Далее, у Лебо во время разговоров с коммунистами о всеобщем равенстве «в голове рождалась новая книга, которая могла бы составить вторую часть «Заключений господина Бегемота». Наконец, в романе он изображен за писанием своей последней книги, заключающей в себе «историю самой обыкновенной любви»; эту книжку, для которой у писателя не находилось нужных слов в виду недостаточного знакомства с предметом, закончить не удалось. Смерть помешала.

Бумеранг категорически устремляется в обратный путь. Маленькая библиографическая справка: «великий писатель в возможности» превзошел своего «великого» предшественника, им самим произведенного на свет; вернее, «великий» мистификатор и плагиатор Илья Эренбург присвоил себе и издал под своим именем все перечисленные выше произведения Жюля Лебо, как написанные последним, так и задуманные. На обложках этих произведений он поставил измененные заглавия: «Заключения господина Бегемота» выданы Эренбургом за его собственный, И. Эренбурга, роман: «Необычайные похождения Хулио Хуренито»; 2-ая часть труда Лебо, только им задуманная, таинственным образом зафиксирована тем же И. Эренбургом и издана под названием «История гибели Европы. Трест Д. Е.» Наконец, «история обыкновенной любви», на которую великий писатель Жюль Лебо потратил столько усилий, которая, можно сказать, стоила ему жизни, перехвачена Ильей Эренбургом и напечатана в виде романа «Любовь Жанны Ней».

Индивидуализм и упадочничество,—эстетизм, экзотика и пасторальная подделка под обыденность,—все эти необходимые черты творческого облика незабвенного Жюля Лебо обнаруживаются перед читателями с первых же страниц этих романов, из которых каждый представляет не что иное, как блестящую компиляцию кинематографически мелькающих вещей, вещей и вещичек, взметенных вихрем мирообъемлющей фантазии автора и столкнувшихся в ослепительное множество взвинченных положений, подгоняющих одна другую картин,—проблем, затронутых вскользь, и жестов, небрежно направленных в безбрежность истории и бесконечность грядущих столетий.

«В его (Лебо) кабинете было много редких и ценных вещей: над каталунским Христом, сделанным из раскрашенного дерева и одетым в бархатную юбочку... висели картины Пикассо, изображавшие скрипки, сложные, хитрые, злые. Рядом с большим идолом из Полинезии, нагло выпятившим свой детородный орган, можно было заметить смиреннейшие лики новгородских икон. Здесь были этрусские вазы, мексиканская скульптура из лавы, тыквенная банджа негров, готические витражи, ларцы, в которые флорентийцы былых времен клали свадебные подарки, резные гребни лапландцев» и т. п. «На дикпых, во всю стену, полках, чинно выстроившись в шеренги, готовились к мыслимым битвам тысячи и тысячи книг от Кама-Сутры до Гильома Аполлинера, от бормотания отцов церкви до восклицательных знаков коммунистических брошюр».

Таков был кабинет Жюля Лебо. У И. Эренбурга нет изысканно обставленного кабинета. Ведь он только богема, не рантье. Зато у него есть нечто другое: дар компиляции. Он похитил весь музей Жюля Лебо, вместе с его осуществленными и неосуществленными литературными замыслами, и составил дерзкие компиляции из всей роскоши, сосредоточенной в руках своего «великого» приятеля-рантье.

Чего только нет в этом рассказе о необычайных похождениях «великого учителя» и его учеников «в дни мира, войны и революции в Париже, в Мексике, в Риме, в Сенегале, в Кипешме, в Москве и в других местах», где приведены беседы учителя «о трубах, о смерти, о любви, о свободе, об игре в шахматы, об иудейском племени, о конструкции и о многом ином».

Но титульный лист, вешающий все это, слишком скромнен: подобно тому, как в известном анекдоте до ближайшей деревни остается дойти десять верст с «гаком», причем «гак» оказывается значительно длиннее десяти верст, так и здесь «многое иное», добавленное к перечислению, подразумевает гораздо большее количество неперечисленного.

Место действия романов Эренбурга—мир: на меньшем он не мирится. Время действия—бесконечность протекших и грядущих тысячелетий человеческой истории. Отмежевав себе таким образом достойную для своего писательского роста арену, Эренбург строит роман. В «Хулио Хуренито» 35 глав, в «Тресте Д. Е.»—31, в «Жанне Ней»—не менее 50. Эренбург—писатель непоседливый настолько же, насколько его двойник Лебо физически домосед: в каждом романе не часто найдешь 2 смежные главы, в которых действие протекает в одной и той же стране. Даже там, где действие всего романа протекает более или менее оседло (например, «Жанна Ней» и «Николай Бурбов») герои все время раз'езжают, причем место действия резко меняется: Советская Россия и Париж, как место действия,—это минимум, без которого вовсе не может обойтись автор. Даже в маленьких новеллах план действия строится по этому принципу и на столь же крутых перерывах (напр., «Акционерное Общество Меркюр де-Рюсси» и «Испорченная фильма» в сборнике «Повести о легких концах»). В громадном числе случаев оно переносится (излюбленный прием) из одной части света в другую. Особенно энергично этот географический калейдоскоп проводится в «Хулио Хуренито» и «Тресте Д. Е.». Читатель скачет здесь, подобно Фаусту, в сопровождении автора (о, саркастический Мефистофель!) из края в край на огненных конях фантазии и не успевает ни к чему прилепиться, ни во что всмотреться и вдуматься. Перед ним ураганом мель-

кают все вещи земли и все люди земли, которые при этой быстроте теряют свое человеческое лицо, становятся вещами среди других вещей. В этом основная задача писателя: показать человека с такого расстояния и на такой скорости, чтобы он перестал импонировать своей индивидуальностью, а был бы только подробностью панорамы. Даже в тех произведениях, где место действия более фиксировано по причине хотя бы малого объема новеллы (например, в рассказе «Шиф-карта», сб. «Повести о легких концах»), автор не сживается с каким-либо избранным им человеком, но подсматривает разнообразные интерьеры, вкрадываясь в квартиры, как вор, чтобы стащить... кусок наблюденной действительности и использовать его для своих комбинаций.

В кабинете Лебо стояло, как мы видели, много примечательных вещей. Они не радовали их владельца. В его произведениях тоже много вещей и еще людей, с ними сходных, которые, нимало не радуя их автора, вихрем крутятся по страницам книги: ведь здесь ничто не должно стоять; в хорошей книге должно быть действие. Лебо был великий писатель, об этом сказал нам Эренбург, и это доказывает он нам своими романами, в которых—самое стремительное, самое, так сказать, действующее действие—действительное кино. Оно здесь—самое стремительное, это, во-первых, и, кроме того,—самое удобное для того, чтобы, изображая, промелькнуть мимо, без обязанности полюбить изображаемое, которая обычно так связывает художника.

Итак, много вещей и много действия (слишком много вещей и слишком много действия)—такова писательская манера Ильи Эренбурга. Таков обычно малоподвижный Жюль Лебо за работой.

Из этого отношения писателя к вещам, лицам и явлениям вытекает конструкция его произведений.

За период 1921—1923 гг. Эренбург дал 4 крупных романа («Хулио Хуренито»—1921, «Жизнь и гибель Николая Курбова»—1922, «Трест Д. Е.»—1923 год и «Любовь Жанны Ней») и 19 новелл («6 повестей о легких концах»—1921 год и «13 трубок»—1922 год). Таков обильный результат трехлетней работы писателя. По построению, эти вещи, очевидно, распадаются на две группы: авантюрно-кинематографическая триковая новелла и психологически-бытовая повесть. К первой группе относятся: «Хулио Хуренито», «Трест Д. Е.», «6 повестей о легких концах»; ко второй—«Жизнь и гибель Николая Курбова», «Любовь Жанны Ней» и «13 трубок». Конечно, деление это условно, при всей его броскости и очевидности для читательского впечатления: среди чисто триковых «повестей о легких концах» мы найдем вещи, если не психологические, то «с психологией» (например, «Шиф-карта», «Опытно-показательная колония № 62»); с другой стороны, среди «Трубок» найдутся такие, где триковое начало решительно преобладает: таковы: 3-ья трубка—старьевщика Ионша, 6-ая—принадлежащая американскому миллионеру Эстерпеду, 10-ая—русского преподавателя истории Никиты Галактионовича Волячка и 11-ая—где попросту использован сказочный мотив волшебного предмета. Все же в восьми остающихся триковой новелле далеко отступает перед психологической повестью.

Предмет кинематографически-триковой новеллы—событие; предмет психологической повести—человек; предмет психологически-бытовой повести—человек в его материально-бытовой обстановке. Чтобы сделать предметом своего внимания человека,—надо его полюбить; но Жюль Лебо не любит людей, об этом хорошо рассказано Эренбургом в главе 23 романа «Любовь Жанны

Ней». А о вещах И. Эренбург говорит уже от своего имени: «Хотя автор этой книги (речь идет о «13 трубках») всячески одобряет вечность искусства... сам он в жизни вещей не любит, удовлетворяясь сознанием, что вещи существуют». Понятно, что излюбленным жанром Эренбурга является кинематографически-трикусовая новелла.

«Нет, не ненависть, но величайшая нелюбовь опустошила мое сердце», — раскрывает себя загадочное действующее лицо наиболее значительного произведения Эренбурга («Хулио Хуренито»). А герой другого авантюрно-трикусового романа («Трест Д. Е.»), авантюрист Енс Боот, напротив, воспламенен любовью. Затеяв разрушить Европу средствами американских капиталистов и уже наладив дело, он колеблется:

«Но что же «но»?

«И он невольно вспомнил европейские весны, застенчивые и нежные, комнатные весны, растерянность колоколов, украдкой ласки норвежских берез или авиньонских топселей, дымчатую тишину городов, где каждый шаг влюбленного, бредущего со свидания под газовыми звездами, твердит:

«И жаль... И жаль...»

«И правда, между нами говоря, жаль. Чего? Ста веков? Влюбленного? Ацетиленовый фонарь? Историю? Девушку, оставленную там у глупого узкого окна и сжимающую в руке все сто веков, настоящее древнее тепло, след Европы?... Я ее уничтожу... Но все же я ее люблю. Ее, Европу!» («Трест Д. Е.», стр. 53—54). «История обыкновенной любви» запрятана Эренбургом глубоко на дно каждой его авантюрной повести. Она живет там, как и в творчестве Лебо, как глухая потребность, бессильная прикрепиться к какому-либо определенному объекту и потому гиперболически расплывающаяся в бездействии по географическим и культурным пространствам земного шара. Ее наличие граничит здесь с небытием. Зато на первом плане оглушающе доминирует главный двигатель кинематографической новеллы—авантюрно-сатирический мотив «нелюби».

«Предо мной проходят Россия, Франция, война, революция, сытость, бунт, голод, покой. Я не спорю и не преклоняюсь. Я знаю, что много цепей разного металла и формы, но все они—дешь, и ни к одной из них не протянется моя слабая рука» («Хулио Хуренито», стр. 270).

Но, поистине, нет цепей тяжелее, чем те, которые носит представитель богемы, освободившийся от всех цепей (от всех осознанных реальных связей с обществом).

Примираясь с бездействием общественным, представитель богемы превращается в умственного рантье, страдательно воспринимающего мир и бессильного осветить его единым творческим приятием: и вот действительность распадается на пестрые разрозненные лоскутья (которыми украшены—кабинет Лебо и романы Эренбурга).

Отсюда—отсутствие сюжета в наиболее богатых интригой вещах Эренбурга. И «Хулио Хуренито», «Трест Д. Е.» блещут отсутствием сюжета, при всем обилии эффектных положений, колоритнейших кусков жизни, отчетливости характеристик и т. п., а взыскиваемое единство обретается в иллюзорной идиллии пленительного мифа о единой и цельной общности.

Начинаясь селешительной случайностью (неожиданная встреча, необычайное сумасбродство), они так же сумасбродно и оканчиваются. Между началом

и концом низжен еще целый ряд великодушных сумасбродств. Длина ряда всецело определяется прихотью художника. Каждый из этих романов мог бы быть увеличен или уменьшен в любое количество раз.

Образцы уменьшенных рядов дады Эрэнбургом фактически в его повестках. Новелла «Акционерное Общество Меркюр-де-Рюсси» («Повести о легких колцах»), примерно, с успехом могла бы быть развернута до размеров «Треста Д. Е.» (и обратно), а «Испорченная фильма»—до «Хулио Хуренито»—путем механического наращивания имеющихся в портфеле автора зарисовок, без всяких дополнительных усилий по вызыванию последних в общий замысел произведения. То же приходится сказать и о «13 трубках», данных в виде серии новелл, но легко поддающихся объединению в произведение, подобное «Хулио Хуренито», без всякой внутренней перестройки отдельных эпизодов, путем простого установления чисто внешней связи.

Каскад внешнего движения, напряженная стремительность повествования, брызжащая fuga кинематографически-сменяющихся друг друга картин (прячканной и сухой точности внешних описаний), «не стесняющаяся ни перед какими затратами» смена декораций в каждой главе (и внутри многих глав по несколько раз)—безусловно, за счет движения внутреннего. Чем, например, мотивировано желание смерти у Хулио Хуренито именно в тот момент, как это случается в романе? Только желанием автора показать именно данный ряд картин. В самой личности «Учителя» ничего нового не происходит. Точно так же построен и «Трест Д. Е.». Здесь любовь Енса Боота к прекрасной французенке с огненной челкой, госпоже Флампго, в замужестве Бланкафар, олицетворяющей в глазах героя всю прелесть Европы, обозначена лишь двумя точками повествования: встреча на балу и отказ дамы танцевать с героем, и любовное свидание через много лет, приносящее любовнику полное удовлетворение и жестокое разочарование, так как очаровательная мадам Бланкафар оказывается обыкновенной жадной мещанкой. Первое событие изображено в главе 22, второе в главе 50. Остальные 29 глав заполнены приключениями Енса Боота, во-первых, имевшими место до того, как он пришел к намерению разрушить Европу, а затем—связанными с этим намерением. Правда, обида, нанесенная Енсу Бооту, наталкивает его на мысль о разрушении Европы, а разочарование от свидания устраняет все колебания в этом вопросе. Не совершенно ясно, что содержание романа не в этой намеренно-парадоксальной мотивации, а в ослепительной панораме стран, культур, социальных слоев и сменяющих друг друга катастроф; она и составляет ткань произведения, которое, в сущности, является точным повторением «приключений Хулио Хуренито».

В строгом соответствии с сюжетом подобран у Эрэнбурга и состав действующих лиц. Ведь только характер может дать сюжет. Эрэнбург предпочитает характеры, не дающие сюжета, но дающие авантюры: опорное действующее лицо всех без исключения его романов—авантюрист, этот наиболее бесхарактерный, а, следовательно, бессюжетный характер,—чистый герой авантюры. Таковы Хулио Хуренито и Енс Боот,—таковы же (здесь мы переходим к группе психологически-бытовых повестей Эрэнбурга)—Николай Курбэв и Андрей (герой повести «Жанна Ней»). Первые два—герои иронических повестей-кинофильм, напичканных авторской «нелюбовью»,—не имеют причины маскироваться; о своем авантюризме они заявляют открыто: «Нарушая все

запреты существующих ныне кодексов этики и права, Хулио Хуренито не оправдывал этого какой-либо новой религией, новым миропознанием. Пред всеми судилищами мира, включая суды революционный трибунал РСФСР и жреца марабута центральной Африки, учитель предстал бы, как предатель, лжец и зачинщик неисчислимых преступлений... Узнав об его делах, многие скажут, что он был лишь провокатором. Так называли его при жизни мудрые философы и веселые журналисты. Но учитель, не отвергая сего почтенного прозвища, говорил им: «Провокатор—это великая повитуха истории...»

Такова характеристика, полная хвастливой парадоксальности, данная Эренбургом своему, может быть, наиболее законченному, созданию.

Относительно Енса Боота мы получаем не менее точную фактическую справку:

«Два существа жили в Енсе Бооте: крупный авантюрист, презанник Наполеона, воплощение Юпитера, убийца Европы, директор «Треста Д. В.»—подговаривал, приказывал и, чуть усмехаясь, наблюдал за точностью выполнения. Это был один человек. Другой же являлся сантиментальным коммивояжером, влюбленным в какую-то француженку... вздыхавшим о милой пижаме и плавающим при всяком удобном случае».

А что сказать о преданных, честных и бесстрашных революционерах, Николае Курбове и Андрее? Пусть первые два—фантастические провокаторы и коммивояжеры, продиктованные автору его взнесенной над жизнью иронической «нелюбовью»—носятся над страданиями земных полушарий ожесточенными соглядатаями и остроумными подрывателями вековых монументов ради своей индивидуалистической страсти—нелюбви. Но борцы-коммунисты, прикрепленные к своим происхождением, и делом своей жизни к определенному классу, к конкретной исторической обстановке, не столько разрушили старого быта, сколько активные создатели нового,—что общего могут они иметь с этой эффектной, но темной, компаней софистических проходимцев? Ничего общего... Вот разве только то, что Жюль Лебо... т.-е. Илья Эренбург пожелал написать психологически-бытовой роман и сделал неповинный в индивидуализме образ революционера-активиста опорным для этого нового замысла. И этого было достаточно, чтобы растворить конкретный и внутренне-подвижный образ борца и создателя во внешнем движении авантюрно-взвинченных событий с внутренне-неподвижным индивидуализмом в центре. Ни Николай Курбов, ни Андрей не принадлежат к опорному классу революции: первый—сын пресвитутки, второй—интеллигент, студент, пришедший к революции явно не из низов. Конечно, происхождение, определяющее в массе, в каждом частном случае ничего не решает. Но дело этим у Эренбурга не ограничивается: активные, беззаветно рискующие собственной жизнью в обстановке гражданских боев и в стане врага, Курбов и Андрей неспособны понять революцию в ее медленном поступательном движении. Эпоха яэпа оказывается роковой для этих *бреттегов* революции. Николай Курбов гибнет от нее окончательно. Андрея она выгоняет из России. Он спешит применять свои авантюристские наклонности во французском подполье. Революционной работы без непосредственного риска для жизни они не мыслят. Более того, единственным содержанием этой работы для них является риск. Это игроки, поставившие свою жизнь на карту... пролетарской революции. Гражданская война, баррикада—вот единственная обстановка, достойная их революционного пафоса. Из всей тыловой революционной



работы Николай Курбов легче всего чувствует себя на работе в ВЧК и именно потому, что напряженность борьбы с контр-революционными заговорами приближает этот вид тыловой работы к обстановке борьбы на фронте и в тылу врага. Бытовыми, классовыми, социально-осязательными нитями не связаны с октябрьской революцией ни тот, ни другой. Это индивидуалисты-мешане, подлинная богема революции, с полустертыми следами своей былой принадлежности к определенному социальному целому, опирающиеся в настоящем, как и подобает богеме, лишь на своей отвлеченный идейный пафос. В этом они совершенно сходны с первой группой образов—Хулио Хуренито и Енсом Боотом; и там и тут тип сентиментального или иронического коммивояжера, странника, вечно жидка, не имеющего социальной оседлости: внешне активного, предприимчивого авантюриста, талантливого и энергичного представителя богемы, жаждущего нажать духовный капитал, стать духовным рантьером. Жажда эта—от великого голода и нищеты, ибо у этих индивидуалистов нет ничего, кроме их прекрасной мечты, ради которой они вступают в ожесточенную борьбу с ненавистной действительностью; впрочем, борьба эта ограничивается по существу острым неприятием действительности и уходом из нее, или ее разрушением, а никак не преодолением и переработкой в действительной конкретной борьбе.

Во всем перечисленном иронические герои авантюрно-трюковых романов Эренбурга и лирические герои его психологически-бытовых повестей тождественны.

Великий провокатор, апостол «нелюбви» Хулио Хуренито мечтает о грядущем так же страстно, как коммунист Николай Курбов: «Вне гармонии нет жизни, но лишь существование людей и племен. Под гармонией он понимает «потерянное человеческое ощущение, необходимое для прекрасной жизни, владыке со всей вселенной». «Я не знаю, как оно будет обретоно, в лабораториях, на пожарищах, стихийной катастрофой или последним напряжением разумной воли. Я не знаю, когда придет этот час свободы, восторга, базумия. Знаю, что он придет. Еще знаю, что для этого надо торопить неизбежную стрелку событий, войн, революций, нашего, нелюбого мне, дня» («Хулио Хуренито»).

Кто бы подумал, что в саркастическом «провокаторе» тантся столько лирической сентиментальности и декламационного пафоса? Но Эренбург раскрывает нам эту интимную подробность своего «Учителя», и не верить ему не приходится. И Николай Курбов (уж не из учеников ли великого провокатора-сентименталиста—он сам?) мечтает о справедливом царстве коммунизма, но теряет почву под ногами при малейшей извилине истории и по примеру Учителя отходит из жизни.

«Делайте, как умеете. А мне что-то больше не хочется; я сыт по горло, в животе тяжесть, словом, величайшее несварение... Прощайте, друзья мои! Берегите свое здоровье! С трупом моим не возитесь! Еще кушайте в Москве простоквашу, это ненормированный продукт и очень рекомендуется для бес-смертия» («Хулио Хуренито»).

«Ясно и другое: он выбыл из строя, он не может. Перепутанное уравнение. Машина испорчена и настолько, что никак не починить. Итти назад? Шагать на месте? Пробовать работать... Нет, это недостойно... С этим сблизил друг другу полюбившиеся дуло и вбоек» (Николай Курбов).

Смерть делает праведника. Безлюбый Хулио Хуренито и многолюбивый Николай Курбов умирают одинаково, несмотря на иронический тон первого описания и лирический—второго. По праведнику и житие: книга о Хулио Хуренито и книга о Николае Курбове (так же, как и книги о Енсе Бооте и о коммунисте Андреэ)—книги авантюрных походов, построенные на трюковых приемах, несмотря на сатирический тон—в первом случае и психологически-бытовой—во втором.

Декларированные парии капиталистического общества, авантюристические представители богемы, коммивояжеры идей, космополиты безлюбья, герои Эрнбурга относятся к действительности с паразитической жадностью, внушаемой их социальной отверженностью от берущихся и хозяйствующих классов, их эгоистичным индивидуализмом и душевной пустотой. Это коллекционеры впечатлений, собиратели доскутьев действительности. Их жизнь по богатству впечатлений превосходит кабинет Жюль Лебо и в точности равняется романам И. Эрнбурга. Богатство—вещь неплохая. Все дело в том, кем и как оно испытывается. Сбирание не есть творчество. Самая обильная коллекция доскутьев действительности—все еще не действительность. Потому что действительность находится где-то между доскутьев действительности: в их живой связи. Эрнбург воссоздает действительность по доскутьям (как его герои изживают свою жизнь в доскутьях жизни), и она, то и дело, ускользает с его страниц (чтобы сверкнуть улыбкой с более скромных страниц других, даже менее талантливых, авторов). Наиболее напряженное, глубже всего уходящее корнями в прошлое и в толщу социальных пластов человечества, наиболее чуждое грядущим проявлениям действительности,—ее огненный смерч и громоглаголющее к небесам извержение,—мировая прелесть-река революция в ее часное проявление—Октябрь и Советская Россия—не только не воплощены, но и не сняты блестящим мастером кинематографических романов: правда и то, что тема эта мало подходяща для подсобного рода трудов.

Между тем, Эрнбург потратил на эту тему много искусства и дерзости, причем последняя исходит не всегда от художника, но и от дешевого фельетониста. Чтобы не быть господствующими, напомним аудитории, данную Хулио Хуренито и его ученику И. Эрнбургу неким высокостоящим коммунистом и описанную бойким пером ученика (в главе 27-ой «Несбычайных походов Хулио Хуренито»).

Глава названа: «Великий Инквизитор вне легенды». Не будем гадать, кто из вождей революции фигурирует под маской Великого Инквизитора; в романе он назван «капитаном» советского корабля, «важный коммунист», «сам». Следуя выработанным методу своего мастерства, Эрнбург сначала собирает доскуточки действительности: у коммуниста—«глаза насмешливые и умные», в углу его кабинета, «в пустынном завьюженном Кремле»,—тумба с бюстом Энгельса. Идя на аудиенцию, автор пугается встречи с человеком, «который что-то может сделать не только с собой, но и с другими», но ободрает себя мыслью, что это ведь «добродушный дядя, который пять лет тому назад был в Париже его соседом и пил «беки» в излюбленном им кафе». В начале аудиенции «коммунист» предпочтет спрашивать о социальной революции в стране, откуда прибыл его собеседник, об электрификации. Всеми этими приемами автор умело внушает нам образ, может быть, даже слишком конкретный для того, чтобы его можно было видеть без неприятного чувства на страницах пародии, по меньшей

мере, непринужденной. Пародия вызывающая неприятное чувство и потому не достигающая цели—это уже художественный промах. Однако, не будем останавливаться на этом впечатлении и пойдем дальше.

Хуренито «переводит беседу на другие рельсы». Он начинает наступать в свою очередь. На первый случай он предлагает вопрос в своем обычном «провокационном» роде: почему, при массе неразрешенных хозяйственных задач, допускаются уткина гил на стихи, философию, филологию, высшую математику? «Почему не закрыты все театры, не упразднена поэзия, философия и прочее лодырничество?» «Коммунист» «миротлюбиво» отсылает собеседника за разрешением этих вопросов к Анатолию Васильевичу, так как сам интересуется исключительно экономикой, «предпочитая писать декреты о национализации мелкого скота, пробуждающие от сна миллионы, нежели читать стихи Пушкина, от которых сам честно засыпает». Пародия и тут не кажется нам слишком глубокой и остроумной. Однако, минуем и это.

Но дальше Хуренито заводит речь о казнях, и посмотрите, насколько правдоподобна реакция со стороны «коммуниста».

Впрочем, сперва все просто: «коммунист» прервал Учителя возгласом: «Это ужасно! Но что делать—приходится!» «Я не видал его лица—рассказывает Эренбург,—по по голосу понял, что он, действительно, удручен казнями, что слова его—не дипломатическая отговорка, а искренняя жалость человека... никогда никого не сблизившего». Эренбург не был бы Эренбургом, если бы не доскутывал действительности, которые он собрал здесь для обрисовки абсолютно-неприятного ему большого явления, не попытался скрепить своим личным демьсом, почерпнутым в одной из книг, стоявших на полке в кабинете Лобо: на этот раз это Достоевский, с его довольно дешево понятым надрывом и человекобожеством. По прихоти хитроумного автора «коммунист» вскочил, забегал по кабинету, заговаривал... «быстро, отчаянно выкашлявая слова».

«Зачем вы мне говорите об этом? Я сам знаю! Думаете, легко? Вам легко глядеть! Им легко—повиноваться! Здесь—тяжесть, здесь—мука!.. Кто-нибудь должен был познать, начать, встать во главе. Два года тому назад ходили с кольями, ревя-ревели, ревали на клочки генералов, у племенных жоров вырезали вымя... а потом ползали на брюхе под иконами, каля и трепещи. Пришли? Кто?—Я, десятки, тысячи, организация, партия, власть. Сняли ответственность... Я под сбрасываю ваяться не буду, замазывать грехи, руки отмывать не стану. Просто говорю: тяжело. Но так надо, слышите, иначе нельзя!...» (Курсив наш. Д. Г.).

Мы можем быть уверены, что будь, по капризной игре истории, на капитанском мостике России все огненные годы один из учеников Хулио Хуренито, деклассированный представитель богемы, забывший о смысле своего исторического дела и о классе, который делает это дело его руками,—картина Эренбурга могла бы быть верной: да, такой сумасшедший капитан занимался бы истерическими вскрикиваниями, «отчаянным выкашливанием слов» об ответственности, о массах, как буйном стаде разрушителей; такой капитан вопил бы: «Пришли? Кто?—Я, и прежде всего я, полем десятки, тысячи, партия... Такой капитан раскрывался бы перед каждым интервьюирующим его сбывателем, задающим сбывательски-«провокационным» вопросы, которые слишком хорошо известны не только капитану, но и рядовому матросу советского корабля, чтобы отжечь им выклянчивание столь драгоценное на вахте. Такой жалкий капитан

вполне заслужил бы поцену «великого провокатора», навязанный Эренбургом своему внешне-правдоподобному, но по существу выдуманному, «коммунисту».

К счастью для России, у нее был другой капитан в эти годы. И к несчастью для Эренбурга, писатель не понял этой весьма существенной подробности, за что и поплыл целым рядом нехудожественных страниц, подобным вышеприведенной.

Дело, конечно, не в промахах И. Эренбурга. Они возможны у каждого писателя. Но в данном случае промах вытекает из самого существа художественного восприятия у писателя, который наблюдает действительность, предвзвременно отгородившись от нее стенами особняка. Пусть это будет не собственный роскошный особняк, как у Жюль Лебо, а всего лишь случайно попавшийся в чужом кабинете бюст Энгельса, за которым художник испуганно прячется, — препятствие, отделяющее его от жизни, роковым образом отражается на замысле и осуществлении его произведений.

И. Эренбург справедливо отмечен критиками за богатство и точность его зарисовок западно-европейского и американского капитализма, полных жести и яда, за многие другие верные мысли, облеченные в законченные и убедительные формы.

Неуверенность социального положения той группы, к которой принадлежит писатель, при ее вынужденном общественном бездействии, — не может не способствовать развитию жести; под пером писателя — это неизбежно выливается в сатиру. Но какова социальная база этой сатиры? Она мечет свои стрелы в капитализм не во имя нарождающегося будущего. К этому будущему, к его творимой действительности отношение художника не менее сатирично. Но провозглашается культ «нелюбви», как таковой, — а значит, неминуемо смерть и упадочничество. Отсюда, сильный в художественном (сатирическом) изображении законченных *статуарных* и *отмиралошис* явлений, — бездейственный, *статуарный* художник бесценен передать динамическое явление роста.

И не только в изображении стремительных событий современности в ее становлении изменяет Эренбургу его татамтайное перо. Легко видеть, что всякое живое явление, по своей природе далекое от смерти, приговаривается художником к безвременному концу.

Рисует ли он революцию, — она выходит у него сплошным мучением, жертвенностью как раз для тех, кто активно ее творит («коммунист» в «Хулио Хуренито», «Николай Курбов», учительницы в «Опытно-показательной колонии № 62», рабочие в «Акционерном Обществе Меркюр-де-Русси»); и в конце концов, писатель топтает ее в разливе грядущего япа («Николай Курбов» «Любовь Жанны Ней», и главы, посвященные России будущего в «Тресте Д. Е.»). Но это не какое-либо предвзятое отрицание революции, вытекающее из ее принципиального непризнания. Это просто индивидуалистическое упадочничество художника, вскрывающее смерть за всем разнообразием и пламенной игрой жизненных явлений. Что это именно так, доказывается тем фактом, что все без исключения произведения И. Эренбурга, а не только посвященные революции, кончается гибелью героев, чаще всего физической и всегда моральной. Гибнет революция, гибнет личное счастье, какая бы то ни была, привязанность (к женщине, другу или трубке), гибнут страны, пылые части света, гибнут тысячелетние культуры. Медленно, но верно, в мире воцаряется небытие. Да в мире и нет ничего, кроме небытия, и И. Эренбург — пророк его. И как подлинным

гладочник, последний представитель вымирающей касты, оторванной от жизни и ее существенных радостей, представитель богемы, художник провозглашает единственным утешением пресловутый гашиш всех индивидуалистов—забвение. Среди чернокожих на берегах Сенегала и в грузинском духане, в глазах влюбленной женщины и в шелесте авианьонских тополей, в отчаянных подвигах романтизированного подполья и в ожесточенном писании книги об обыкновенной любви таится желанное бездумье. Но оно упорно не поддается чарам искусства. При приближении художника, оно неизменно ускользает, и остается неосуществимая идиллия, сотканная автором при помощи Руссо и Уэльса, французских парнасцев и современного кинематографа, всем богатством приемов, находящихся в распоряжении талантливого последыша и компилятора.

Среди многих правильных мыслей, отмеченных у Эренбурга критиками, есть одна, как будто не достаточно оцененная. Однажды писатель метко определил положение и судьбу социальной группы, к которой сам он принадлежит. Вот этот удачный социологический автопортрет:

«Учитель... любви часто проводит вечера в обществе поэтов, художников и актеров. Он говорит, что... может позволить себе слабость любить две—три старинных безделушки и это веселое племя цыган, бурно доживающее свой век на площадях городов». «Я люблю их за бесцельность, за обреченность, сам не знаю, за что. Каждый из них в отдельности молод, дерзок и жив, все вместе они дряхлее средневековых соборов. Они страстно любят современность, и это почти патологическое чувство восторга приужденного к казни перед эшафотом...» («Хулио Хуренито», страница 77).

Эренбург об'ясняет эту обреченность тем, что кустарей вытесняет машина. Но таких поэтов и художников, как Эренбург, устраняет от жизни не машина, а неспособность стать около нее с теми, кто ею управляет. А другие пути для художника нет и не будет.

Д. ГОРБОВ.

## Курская магнитная аномалия.

*Академик П. П. Лазарев.*

**Е**сли мы возьмем магнитную стрелку, подвешенную за ее центр тяжести, и станем изучать в различных частях земли положение этой стрелки, то мы заметим, что, во-первых, стрелка повскачивается своим северным концом к Северному полюсу и, во-вторых, что этот северный конец является наклонным в нашем северном полушарии к земле. Таким образом, ось стрелки, соединяющая два ее магнитных полюса, делает с горизентом определенный угол, который носит название наклонения, вертикальная плоскость, в которой лежит стрелка, образует с географическим меридианом угол, который носит название склонения. Кроме того, в каждой точке земного шара имеются характерные для него величины магнитной силы, которые мы графически можем представить прямой линией, и, таким образом, переходя от одной точки земного шара к другой, мы будем иметь изменение склонения и наклонения величины магнитной силы, или, как говорят, изменение элементов земного магнетизма. Если мы сделаем большее число измерений магнитных элементов на поверхности земли, то мы получим ясную картину характера намагничивания земли, и мы можем в самом простейшем случае весьма приблизительно это намагничивание представить себе следующей элементарной схемой: представим себе, что у нас в центре земли расположен магнит очень маленьких размеров, но имеющий чрезвычайно большую силу. Пусть линии, соединяющие полюсы этого магнита, образуют с осью земли угол в  $11^\circ$ . Тогда поле, которое будет давать на поверхности земли этот магнит, может быть при известной его силе сделано одинаковым с полем земли. Мы, следовательно, можем рассматривать поле земли, как происходящее от бесконечно малого магнита, помещенного в центре земли. Мы можем из рассмотрения этих магнитных линий сделать целый ряд в высшей степени важных выводов, которые позволяют нам подойти к графическому изображению земного поля. Прежде всего мы можем сказать, что магнитные линии, которые будут являться продолжением линий, соединяющих два полюса нашего магнита и которые представляют собой прямые линии, пересекают поверхность земного шара в двух точках, которые мы можем назвать магнитными полюсами нашей земли. Они располагаются на некотором расстоянии от географических полюсов вследствие наклонения магнитной оси к оси географической. Плоскость, перпендикулярная к центральному бесконечно малому магниту и проходящая чрез его центр, пересечет поверхность земли по линии, которую мы можем назвать магнитным экватором и которая делает угол в  $11^\circ$  с географическим экватором. Плоскости, параллельные магнитному эква-

тору, пересекут земной шар по так называемым магнитным параллелям, делающим, как понятно, углы в  $11^\circ$  с плоскостью географических параллелей. Величина наклона и величина магнитной силы на каждой магнитной параллели имеет, как это легко понять, одно и то же значение; что касается склонения, то оно будет сложно зависеть от ряда условий, и математически можно выразить зависимость склонения от широты и долготы в виде сложной формулы. Если мы соединим линиями точки, в которых магнитные силы на земле имеют одно и то же значение, то мы получим кривые, называемые изолиниями магнитных элементов. Мы можем говорить, таким образом, об изолиниях склонения, об изолиниях наклона и об изолиниях величины магнитной силы. Изолинии наклона и величины силы почти совпадают с магнитными параллелями, и это является лучшим доказательством справедливости нашего основного представления о бесконечно малом магните.

При более детальном изучении поверхности земли мы довольно скоро убедимся, что между теми значениями магнитных элементов, которые должны соответствовать данной точке по нашей простой схеме, и между реально существующими значениями элементов всегда наблюдаются некоторые различия, зависящие от местных условий, чрезвычайно сильно колеблющихся и не легко учитываемых. Достаточно, например, поместить небольшой железный предмет, который намагничен под влиянием земного поля, для того, чтобы в этом месте земного поля около предмета было небольшое возмущение. Если эти отступления достигают заметных размеров и делаются ясными при грубых исследованиях, то такие места на земле носят название аномалий.

В настоящей статье мы хотели бы дать представление о самой грандиозной магнитной аномалии в мире—о курской магнитной аномалии,—которая в течение революции (1919—1925) была очень точно исследована, и загадка которой в последнее время получила полное разрешение.

## 1.

### История открытия курской магнитной аномалии.

Первое указание на существование магнитной аномалии в Курской губернии возникло еще в конце 70-х г.г. прошлого столетия. Privat-доцент Казанского университета Смирнов, производивший геомагнитные съемки в области Курской губернии, открыл первые аномальные пункты, лежащие около ставших впоследствии историческими мест: Белгород, Непхаво и Кочетовки. Более точные исследования, сделанные Пильчиковым, а затем Сергеевским и Роддом, показали, что эта аномалия значительно превосходит все то, что было известно до сих пор в мире, и сообщения, сделанные за границу, вызвали по этому поводу настолько резкую критику и настолько ясно выраженные сомнения относительно справедливости измерений русских ученых, что было решено пригласить известного специалиста по магнетологии, директора парижской обсерватории Мура в Россию с целью проверки соответствующих наблюдений. Мур действительно прибыл в Россию, проделал целый ряд исследований в поле и получил для ряда пунктов Курской губернии значения магнитных элементов. Он вполне подтвердил то, что было найдено русскими исследователями, и, таким образом, можно было считать, что существование аномалии в Курской губернии является установленным. Однако, эти данные

Муро не позволили провести изолинии аномалии и таким образом отграничить аномальную полосу. Они не дали возможности найти максимумы мест аномалии. Таким образом, ближайшей задачей русской магнетологии явилось изучение курской магнитной аномалии, и эта задача была проделана Лейстом, который в течение 20 слишком лет за счет ученых обществ, за счет курского губернского земства и отчасти за свой собственный счет производил колоссальную работу по с'емкам в Курской губернии. Лейст ничего не публиковал в течение своей работы и уже в первые годы его исследовательской деятельности, когда ему удалось ближе обследовать южную часть Курской губернии вблизи Белгорода, Непхаево и Кочетовки, он высказался за существование магнитных рудных залежей, по всей вероятности, железа, и это обстоятельство дало ему основание для постановки глубокого бурения. Курское земство дало средства на эти работы. Однако, проведенные до глубины 75 сажен буровые скважины не дали никаких указаний на существование железа, хотя железные обсадные трубы, опущенные в эти скважины, настолько сильно были намагничены, что притягивали пятифунтовые предметы. Лейст смог довести свою научную работу до конца, и в 1918 году в физическом институте при московском научном институте он сделал доклад, из которого вытекало, что на пространстве Курской губернии им было снято около четырех с половиной тысяч точек, где были получены изолинии для элементов земного магнетизма. Карта Лейста, продемонстрированная им на заседании, не была опубликована, и, как потом выяснилось осенью в 1918 году, была им летом увезена за границу, где и исчезла, и судьба этой карты до настоящего времени представляется совершенно неизвестной. Тогда же осенью были сделаны предложения со стороны ряда лиц Л. Б. Красину приобрести эти карты для русского правительства за огромные деньги. Сам Красин впоследствии в газетной статье («Известия» 24 апр. 1923 г.) указывал сумму около 10 миллионов шведских крон. Когда в ответ на предложение Красина получить за эти карты 300.000 руб. последовал отказ, Красин предложил академику Лазареву произвести заново с'емку в Курской губернии, и на это чрезвычайная комиссия по снабжению Красной армии, возглавляемая Красиным, ассигновала сразу достаточную для начала работ сумму.

Работы в течение первого года протекали в чрезвычайно тяжелых внешних условиях. Достаточно сказать, что это лето, лето 1919 года, было летом наступления белых с юга, когда Харьковская и Курская губернии были ареной гражданской войны. О покойной научной работе не могло быть, понятно, и речи, и исследователи находились все время не только в прифронтовой полосе, но бывали случаи, когда работающие отряды оказывались между фронтами противников. Затруднения заключались и в том, что кем-то, уже по приезде отрядов на место, был пущен слух, что явились помещики отбирать у крестьян землю. Этот слух был с огромным трудом ликвидирован работниками отрядов, которым удалось установить с местным крестьянским населением такие хорошие отношения, что в течение следующих лет крестьяне охотно помогали при затруднительных материальных обстоятельствах отрядам, которые только впоследствии выплачивали все те долги, которые приходилось делать из-за трудности сообщения с Москвой, из-за трудности получения временами денежных знаков в Курске. Наконец, не способствовала работам первого года и погода. В течение июля месяца стояло только 11 ясных дней, в течение которых можно было работать, а так как почва в Курской губернии является неблаго-



приятной—местами глинистой,—то передвижение по проселочным дорогам было абсолютно невозможно. Но несмотря на все эти неблагоприятные условия, в первый год было снято больше 400 точек, и эти точки, в конце концов, позволили открыть аномалию и позволили, следовательно, поставить на следующий год работу более планомерно.

В эту первую, самую трудную, часть исследовательская работа производилась комиссией Академии Наук под руководством П. П. Лазарева, финансирование производилось чрезвычайной комиссией по снабжению Красной армии и Чусоснабармом) которые отпускали определенные кредиты на эти разведки.

Когда после доклада о результатах работ выяснилось, что в 1919 году найден центр значительной аномалии с большими значениями элементов магнетизма, было предположено образовать комиссию в составе специалистов разных отраслей. Эти комиссии сначала были образованы при Горном Совете, а потом перешли в ведение президиума ВСНХ, при чем магнитные гравитационные и остальные геофизические работы продолжали паходиться в ведении академика Лазарева. Геологическая работа велась Архангельским, буровыми работами руководил Гиммерфарб. Председателем комиссии был назначен Губкин, состоявший в то же время заместителем председателя Горного Совета, зам. председателя академик Лазарев. Комиссия ввела в свой состав ряд крупных представителей русской науки: Иоффе, Крылова, Вернадского, Белопольского, Самойлова.

Таким образом, в пополненном составе комиссия приступила к разработке дальнейших исследований, связанных с глубоким бурением. Одновременно с этим продолжались работы магнитные и геофизические, которые за период 1920—24 гг. позволили в значительной степени раз'яснить картину аномалии и позволили, таким образом, восстановить до некоторой степени карту Лейста.

В 1920 году начинается подготовка буровых работ. Эти работы потребовали затраты тоже больших усилий, так как трудно было получить некоторые буровые станки и оборудование, и это все было выполнено к 1922 г., когда данные, полученные из наблюдений над магнитной аномалией, позволили установить место для первого бурения, которое было выбрано недалеко от Щитров, в месте с грандиозным магнитным максимумом, открытым и изученным в течение второго и третьего года работ.

Мы не станем останавливаться на истории развития дальнейших работ, ибо наиболее трудный период работ миновал с 1920 года, и дальнейшие работы облегчались по мере улучшения жизни, улучшения транспорта, и перейдем теперь к непосредственному изложению общих результатов геофизических работ, которые были получены за это время.

## 2.

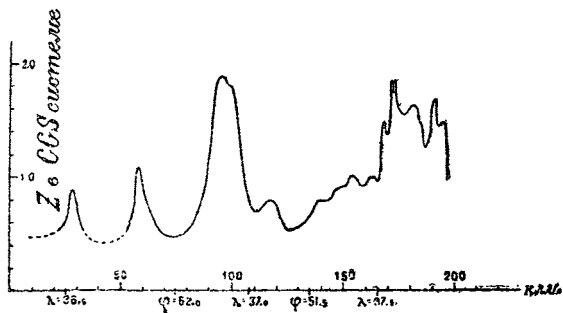
### **Общая характеристика курской магнитной аномалии с ее геофизических сторон.**

Для того, чтобы описать в общих чертах курскую магнитную аномалию, мы приложим карту, которая дает характеристику всех выполненных за это время работ и которая укажет нам некоторые особенности этой курской магнитной аномалии.

Курская магнитная аномалия начинается с северо-востока Орловской и Курской губернии, тянется через уезды: Курский, Щигровский, Тимский, Старо-Оскольский по направлению к Воронежской губернии, при чем характерно, что аномалия образует длинную узкую полосу, достигающую ширины 5 верст в северной части и разделяющуюся на две отдельные полосы в части южной. К югу от этой первой аномальной полосы тянется вторая аномальная полоса или, лучше сказать, ряд отдельных полос, из которых сейчас открыты три, которые проходят через Обоянский и Белгородский уезды. Эта южная полоса, изученная вначале в областях, близких к Белгороду, Непхаву и Кочетовке, обнаруживает величину аномалии значительно меньше северной полосы, где аномалия превосходит все то, что наблюдается где бы то ни было в мире. Имеются центры около Щигров и в Оскольском уезде, там, где аномалия делится на две ветви, где вертикальная составляющая магнитной силы достигает 1,9 абсолютных магнитных единиц, значительно превосходя таким образом не только все то, что имеется в аномальных местах, но в несколько раз превосходя максимум магнитной силы, наблюдаемой на полюсе земли.

Распределение этих магнитных максимумов всего яснее будет видно, если мы вертикальную составляющую магнитной силы нанесем на карту, при чем мы будем следовать вдоль осевой линии аномалии, соединяющей все местные максимумы вертикальной составляющей. На приложенной фигуре, изображающей изменение этой

составляющей вдоль осевой линии, мы видим, что максимумов у нас наблюдается два: один в области Щигровского уезда и второй в области Оскольского уезда. Второй максимум не только обширнее, но он и абсолютно больше, представляя собою огромный интерес,



так как область, охватывающая этот второй максимум в ширину, имеет гораздо большие размеры, чем мы имеем дело на севере, достигая местами 15 верст. К югу от этой первой полосы, отделенной пространством, примерно, в 40—50 верст, тянется второй полюс, о котором мы говорили выше. Между этими двумя полюсами лежит слабое аномальное магнитное поле.

Картина, которую представляют собою курская магнитная аномалия, уже с самого начала заставила Лазарева высказаться, что мы тут имеем дело с несомненными рудными залежами: нематериальные причины не могут дать подобного распределения аномалии, а, следовательно, нужно было искать только материальных причин аномалии. Чтобы проверить подобное заключение, был проделан ряд определений силы тяжести (гравитационных работ). Таким путем было констатировано, что совершенно параллельно магнитной аномалии, хотя и не вполне совпадая с ней, по максимуму расположена гравитационная аномалия, достигающая наибольших размеров в южной части, в Оскольском уезде, и имеющая приблизительно одинаковое значение как в Щиграх, так и в Тиме: но магнитная сила около Щигров—максимальна

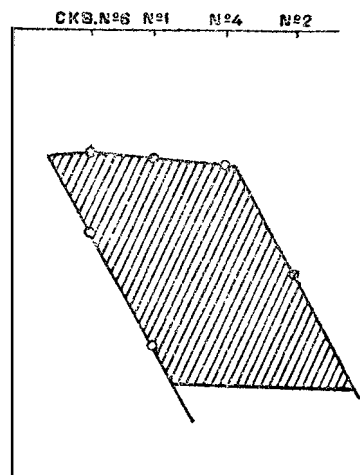
и около Тима—минимальна. Этому обстоятельству мы придаем большое значение, так как мы увидим дальше, что оно может играть значительную роль при исследовании количества железных руд, находящихся в Курской губернии.

Присутствие гравитационной аномалии говорило, что вся масса, которая дает гравитационную аномалию, должна быть тяжелее окружающей коры земли, и мы знаем действительно хорошо, что все магнитные руды обладают большей плотностью—около 5—по сравнению со средней плотностью коры земли, составляющей величину от двух до трех.

Предварительные бурения в Щиграх сразу показали, что мы имеем дело с местом, выбранным правильно, так как по мере углубления бура в почву бур, находящийся во все более и более сильном магнитном поле, исходящем из рудных залежей, обнаруживал все большее и большее намагничивание. В то время, когда на поверхности земли при углублении всего только на 5 саженей бур намагничивался так, что мог притягивать около 5 фунтов железа, на глубине около 70 саженей бур в состоянии был притягивать до 20 и даже более фунтов железа. Таким образом, несомненно, что намагничивание шло, чрезвычайно быстро увеличиваясь, и это доказывало, что мы должны близко встретить намагниченные горные породы, которые вызывают и всю аномалию.

В апреле 1923 года впервые удалось после замены ударного бурения бурением вращательным дойти до горных пород, которые содержали магнетит, заложены в толще кварцитов, показывающих сильное действие на магнитную стрелку.

Буровые скважины, которые вначале были поставлены в Щиграх только в одном месте,—затем были растянуты по широкому району в области Щигров на пространстве до 1 версты шириной и до 10 верст в длину. Эти буровые работы позволили восстановить общую картину залежей, и на прилагаемом рисунке мы дадим схематический разрез залежей в плоскости, перпендикулярной к осевой линии магнитной аномалии в области Щигров. Мы видим, таким образом, что залежи представляют собой уходящую глубоко на неизвестную глубину рудную массу, имеющую форму косвенно поставленного призматического тела, которое в верхней своей точке находится под скважиной № 1. Рудная масса, состоящая из железорудных кварцитов, (сверху огра-



Масштаб

Метр. 100 0 100 200 метр.

ничена слоем мела, песка, гальки, а снизу гранитоидными. Распределение магнитных масс неравномерно, в кварцитах имеются прослойки, которые содержат небольшим количеством железа. Местами к этому магнетиту примешан гематит, не обладающий магнитными свойствами.—

обстоятельство, которое чрезвычайно важно при оценке магнитной аномалии.

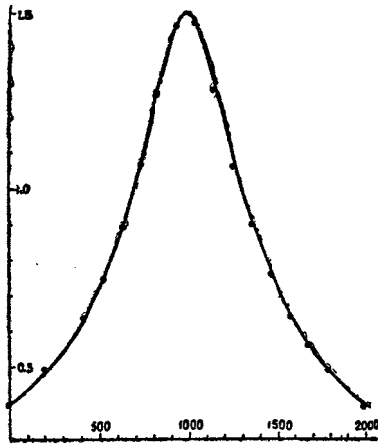
Совершенно аналогичные находки были сделаны в ряде других мест в области Щигров. На той же самой глубине были найдены рудные тела и такие же находки были найдены и в области Оскола, где рудоносные кварциты найдены всего только на глубине 116 метров.

Таким образом, причины курской магнитной аномалии, казалось, являются выясненными, и задача состояла в том, чтобы, во-первых, сравнить то, что найдено непосредственным бурением, с тем, что дает непосредственное наблюдение на поверхности земли, и во-вторых, необходимо было подсчитать те запасы руды, которые в пределах Курской губернии можно ожидать.

Как мы видели выше, глубокое бурение, проделанное в Курской губернии, открыло существование тяжелых масс, лежащих под поверхностью земли и содержащих магнетит, который может вызвать гравитационную аномалию. Для того, чтобы решить вопрос, вызывается ли аномалия только этими причинами или возможны какие-нибудь другие причины, которые нам неизвестны и которые лежат глубже найденных рудоносных кварцитов, необходимо было проделать сложную теоретическую и вычислительную работу, позволяющую подсчитать изменение силы тяжести на поверхности земли, с одной стороны, и магнитные поля, создаваемые намагниченным кварцитом,—с другой. Работа эта была проделана в грандиозном масштабе для всей аномалии, и значительная часть ее была доложена Лазаревым и опубликована в «Известиях Парижской Академии Наук» и в журналах французского физического общества во время пребывания его за границей. Эти работы показали, что не только общий ход гравитации, вычисленный из найденных магнитов, вполне воспроизводит гравитационные вариации, наблюдаемые на самом деле в Курской губернии, но и абсолютные величины этих вариаций достигают тех же самых результатов. Таким образом, мы имеем для гравитационной аномалии полное совпадение того, что найдено бурением, и того, что нам дает теоретический подсчет. Поэтому аномальную силу тяжести можно считать совершенно выясненной.

Несколько сложнее стоит вопрос с магнитной аномалией. Магнитная аномалия дает здесь некоторые чрезвычайно интересные явления, которые были освещены в ряде докладов и работ Лазаревым и на которые мы здесь хотели с некоторой подробностью указать. Если мы станем подсчитывать магнитное поле, которое вызывается рудной залежью, содержащей железные рудные кварциты и находящейся на той глубине, на которой мы нашли залежи в Курской губернии, при чем форму этой залежи мы опять берем из данных бурения, то мы можем, определив степень намагничивания этих кварцитов, подсчитать характер поля, даваемый им на поверхности земли, и абсолютную величину этого магнита. Между подсчетом, произведенным таким образом на основании данных магнитного определения в лаборатории для образцов руды, и между исследованием, произведенным на поверхности земли для определения магнитных элементов, имеется настолько близкое совпадение, что мы можем с несомненностью утверждать, что и причины магнитной аномалии являются открытыми, и что железные рудные кварциты, найденные в Курской губернии, вполне объясняют существование магнитной аномалии.

Для доказательства этого мы приведем на фигуре 3 изменения поперек аномальной полосы нормально к осевой линии для вертикальной составляющей в области несколько северней буровой скважины № 1. Мы видим здесь кривую, которая нам дает вариации вертикальной составляющей магнитной силы с расстоянием, при чем теоретическая кривая изображена непрерывной кривой,



кружками нанесены те наблюдения, которые сделаны на опыте. Мы видим, что совпадение настолько полно, что мы можем действительно говорить о намагничивании кварцитов, как об истинной причине магнитной аномалии.

Если мы теперь зададимся другим вопросом, какие же причины могут вызвать соответственное намагничивание рудной залежи, и если мы представим себе, что единственной причиной может быть магнитное поле земли, которое вызывает это намагничивание, то мы можем подсчитать из величины магнитного поля намагничивание магнетита, из которого в значительной степени состоят наши залежи. Результаты этого подсчета,

сделанные Лазаревым, Костицыным и Заборовским, указывают, что намагниченный магнетит вызывает появление гораздо более слабой аномалии, чем то, что мы имеем в действительности. Таким образом, получается некоторое несоответствие этих последних подсчетов с тем, что мы указывали ранее, именно, с непосредственным наблюдением и подсчетом, сделанным на основании реально открытых намагниченных кварцитов. Мы можем сказать, что кварциты намагничены сильнее, чем это соответствовало бы тому магнитному полю, которое в данном месте имеется в настоящее время.

Какие же причины этого явления? Ответ на это дает теория, предложенная Лазаревым. Мы можем представить себе, что магнитное поле земли изменяется со временем. Мы можем допустить, что наблюдается определенное уменьшение этого магнитного поля. Замечательными по точности исследованиями Бауэра в Америке было констатировано такое уменьшение величины магнитной силы на поверхности земли. Следовательно, мы можем предполагать, что такое уменьшение имело место и во все предшествующие времена, что в те периоды жизни, когда магнитная аномалия в Курской губернии образовалась, поле земли было значительно сильнее и, следовательно, что магнетит был намагничен до большей степени, чем он был бы намагничен существующим в настоящее время полем. Таким образом, мы можем утверждать, что намагничивание магнетита до той степени, которая наблюдается на самом деле, в настоящее время возможно, но что оно вызвано не тем полем, которое мы имеем в Курской губернии сейчас. Это обстоятельство, несомненно, представляет огромный интерес и может послужить к тому, что позволит нам изучить величину магнитных полей в геологические эпохи и, следовательно, составить себе картину магнитных процессов, которые на земле существовали в отдаленные времена.

Эти работы являются основными работами, связанными с изучением курской магнитной аномалии, и в лаборатории физического института в Москве уже поставлен ряд опытов, имеющих целью теоретическое выяснение этого в высшей степени важного вопроса.

Другим вопросом, который ставится в результате исследования магнитной аномалии в Курской губернии, является следующий: мы видели, что в области Щигров и в области Оскола огромный магнитный максимум вертикальной составляющей магнитной силы связан с аномалией силы тяжести.

Мы видим, таким образом, что присутствие магнетита вызывает появление значительной аномалии силы тяжести, и мы таким образом находим связь между магнитной и между гравитационной аномалией.

Совершенно другую картину мы находим в Тиме. В Тиме мы имеем малую магнитную аномалию, мы имеем ненормальное расположение изолиний, и, что касается до величины вертикальной составляющей, то она только немного превосходит норму и, следовательно, мы должны считать, что возмущающаяся магнитная масса имеет здесь весьма незначительные размеры.

Измерения, сделанные для гравитации, показывают, что и здесь мы имеем дело с огромными тяжелыми массами: изменение вертикальной составляющей силы тяжести достигает почти тех же пределов, которые мы имеем в Щигровском уезде и, следовательно, под поверхностью земли мы можем ожидать найти огромное количество тяжелых рудных залежей, природа которых, однако, будет иная, чем в области Щигров и в области Оскота.

Мы можем здесь сделать некоторые простые гипотезы относительно природы тяжелых материалов, которые образуют гравитационную аномалию в Тимском уезде. Если мы примем во внимание, что при бурении магнетит всегда сопровождается и в Щиграх, и в Осколе значительным количеством гематита — окиси железа, в которую постепенно переходит магнетит, который представляет магнитную закись окиси железа, — мы можем допустить, что такой переход не проходил равномерно по всей курской магнитной аномалии, а имелись очаговые места такого перехода, что первоначальные образованные из магнетита сплошные залежи местами перешли почти уже целиком в гематит. Такие места мы имеем как раз в Тимском уезде. Это соображение чрезвычайно важно для подсчета общего содержания руд в Курской губернии, каковые были опубликованы Лазаревым и в «Известиях Парижской Академии Наук».

Если допускать, что залежи имеют около 35% железа, что является, несомненно, преуменьшенным, то одна только северная полоса, при допущении, что мы имеем дело с залежью, нижний конец которой ограничен глубиною 450 метров, получается около 3—5 миллиардов тонн. При этом мы предполагаем, что те области, где магнитные силы делаются меньше, содержат в пропорциональном отношении и железа меньше. Другими словами, мы считаем, что только один магнетит содержит железо, что гематита у нас не встречается в тех местах, где аномалия делается меньше, и что, следовательно, только Щигровский и Оскольский уезды являются в техническом отношении важными и интересными.

Если мы теперь сделаем вторую гипотезу, что гематит составляет главную часть образования в Тиме и что, следовательно, на всем протяжении аномалии мы можем тогда допустить постоянное содержание железа около 35%, мы

получим в этом последнем случае огромное содержание железа—только в одной северной полосе около 20 миллиардов тонн.

Эти подсчеты были проверены обстоятельным и точным бурением в области Шигров. Там мы знаем в настоящее время реальные запасы почезного ископаемого, и вычисления, которые были сделаны по этому поводу профессорами Губкиным и Архангельским, подтверждают вышеприведенные цифры. Предположенные к бурению скважины в области Тима должны нам дать ответ по поводу существования гематитных залежей и таким образом должны проверить гипотетические подсчеты, которые мы привели выше.

Если мы теперь представим, что огромные и важные залежи железа в Швеции около Кируна представляют собой залежи с содержанием всего только одного миллиарда тонн железа, если мы возьмем некоторые французские рудные месторождения, в которых порядок количества железа приблизительно тот же, который мы имеем в шведских залежах, то, конечно, представляется чрезвычайно интересным открытие курских залежей, как такого месторождения железа, которое может конкурировать со всеми мировыми запасами. Правда, найденные до сих пор бурением рудные ископаемые являются довольно бедными железом—от 35 до 50%, однако, есть основания думать, что возможно существование особых магнетитовых центров—магнитных масс, которые будут содержать более богатые породы и которые, следовательно, в практическом отношении будут представлять более значительный интерес, чем открытая уже руда.

Оценивая значение работ в Курской губернии, мы должны прежде всего остановиться на научной стороне этого дела. Аномалия была известна очень давно, была тщательно изучена, хотя и не вполне полно, Лейстом. Однако, только работами комиссии сначала Академии Наук, а затем комиссии при президиуме ВСНХ, были вполне разъяснены детали этой аномалии.

Далее, по поводу природы аномалии среди геологов также существует целый ряд разнообразных мнений. Одно из крайних мнений заключалось в том, что аномалия не может быть вызвана вообще материальными причинами. Считали, что причиной аномалии может быть электрический ток. Мы видим, что эта причина окончательно устранена и найдены даже критерии, которые позволяют на будущее время решить вопрос о материальных или нематериальных причинах аномалии.

Другая группа геологов полагала, что если аномалия возможна, то причины ее должны лежать в массивных кристаллических породах, эта группа геологов полагала, на основании целого ряда гипотетических соображений, связанных со строением Курской губернии, что такие кристаллические породы могут лежать только на огромных, иногда недостижимых для исследователя, глубинах. Целый ряд иностранных ученых применил к этой группе мнений. Аналогичное мнение было высказано, между прочим, известным немецким геофизиком Кенигсбергером.

Третья группа ученых полагала, что мы имеем дело здесь с рудными залежами, но эти рудные залежи лежат, хотя и не на недостижимой, но все же на большой глубине—около 400—500, а может быть и более, саженей.

Систематические исследования, проведенные в области Курской губернии, показали, что все эти мнения являются неверными: они показали, что на небольшой сравнительно глубине лежат залежи, нахождение которых решает всю

загадку курской магнитной аномалии; этим путем дана разгадка чрезвычайно важной и большой научной задачи. Применения физических методов исследования, сделанные в широком масштабе в пределах курской магнитной аномалии, явились первым случаем в мире—при такой глубине залегания, и на это обстоятельство было обращено внимание при докладе Лазарева за границей соответствующими специалистами. В связи с этими работами, показавшими могущество физических методов исследования, возник целый ряд начинаний, имеющих задачей приложение физических методов к исследованию рудных залежей, при чем надо рассматривать все эти начинания как развитие задач, которые впервые в грандиозном масштабе осуществила комиссия курской аномалии. Исследования, сделанные на Урале, при помощи гравитационных методов, и затем целый ряд других намечающихся и отчасти выполняемых исследований, получили толчок благодаря исследованиям курской магнитной аномалии.

Таким образом, научное значение этих работ чрезвычайно велико, и эти работы представляют одну из самых интересных и самых больших проблем геофизики, которые были разрешены в последнее время. Интересными эти работы представляются и с другой стороны. Выполнение их было возможно только при совместной работе физиков, геологов и инженеров. Это обстоятельство показывает, что на будущее время создание таких учреждений, где эти три группы исследователей могли бы совместно работать, может дать неисчерпаемые и ценнейшие указания о залежах полезных ископаемых, которые являются основой техники, которые являются основой народною богатства.

Таким образом, мы подошли к методологическому значению, которое имело изучение магнитной аномалии, и здесь, как мы видим, значение этого исследования очень большое.

Что касается до практического использования магнитной аномалии в Курской губернии, то этот вопрос в настоящее время едва ли может представлять собой интерес для текущего момента. Дело в том, что в России в настоящее время имеются значительные запасы железа на Урале и Кривом Роге. С развитием железного дела возможно и нужно ожидать, что этих запасов будет мало, и тогда магнитная аномалия в Курской губернии должна сыграть огромную роль, дав неисчерпаемые количества железа, необходимого для техники. Во всяком случае, для государства, которое будет жить не день и не год, которое должно планировать свои работы на многие десятилетия вперед, нахождение железа в Курской губернии должно являться чрезвычайно важным обстоятельством, которое может известным образом влиять и на планирование хозяйства на будущее время.

Мы закончим только этим общим указанием и не станем вдаваться в детали, которые представляются нам сейчас преждевременными и мало обоснованными, но, нам кажется, что из сказанного ясно, что необходимо признать за сделанной работой в области магнитной аномалии в Курской губернии огромное научное и научно-техническое значение. Это признание было сделано ученым миром Западной Европы и Америки после докладов академика Лазарева, это же признание было сделано и правительством ВСНХ.



# Астрономический переворот в исторической науке.

Николай Морозов

(По поводу статьи проф. Н. М. Никольского.)

**М**ое всегдашнее правило было: не отвечать на полемические статьи против моих научных выводов, если в этих статьях нет указаний на такие недочеты в моих работах, с которыми я мог бы согласиться и взять назад тот или иной вывод, чтобы не вводить в заблуждение своих читателей. Отвечать на все, что пишется обо мне, по моему мнению,—значило бы разменивать свое время на мелочи и в результате не сделать ничего серьезного в науке.

— Если мои выводы верны,—думал я всегда,—то их рано или поздно придумают, несмотря на персиания современников, а если нет, то их рано или поздно опровергнут, хотя бы современники и были от них в восторге. Так поступил бы я и в данном случае, потому что не нашел ничего существенного в опровержениях моих выводов Н. М. Никольским, с чем я мог бы согласиться. Но, к сожалению, я подпал на этот раз под влияние моих друзей, не специалистов по истории, а занимающихся другими науками, или про то общеобразованных людей, которые почти силой принудили меня дать ответ больше для их успокоения.

— Его статья,—говорили они мне,—написана таким авторитетным и безапелляционным тоном. что теперь, в период больших религиозных споров, твои противники могут воспользоваться ею, чтобы надолго покончить с тобой, об'явив твою книгу уже опровергнутою, чего на самом деле нет.

Я уступил, наконец, их давлению и согласился написать эту статью.

Н. М. Никольский говорит сам, что в астрономии он не считает себя авторитетом и потому главную тяжесть своей полемики переносит на историческую часть моей работы, где он считает себя более компетентным, чем я.

Понимая, что мои сопоставительные таблицы параллелизма династических событий в царстве римском, начиная с Аврелиана, и в царстве богоборческом, а также и другие подобные сопоставления могут смутить доверие и у историков к справедливости древней хронологии, он обрушивается на них и р'учно в самом конце, чтоб удерж'ать впечатление читателя таким местом, которое ему кажется самым сильным. Посмотрим же, каково оно на деле.

«Для оценки этого (*диаграмматического*) метода,—говорит он на стр. 175 «Нового Мира»,—приведем лишь несколько замечаний относительно I и II его

(Морозова) таблицы. В первой таблице в ряду израильских царей мы встречаем неизвестное до сих пор междуцарствие между Сохомом и Менахемом, продолжавшееся 21 год. Во II книге Царств, VI, 13—17 совершенно ясно указывается, что Менахем сверг израильского царя Соллума и воцарился вместо него. Далее, Менахем царствовал 14 лет, а не 10, Пеках 6 лет, а не 20, Осия 8 лет, а не 1 год. В ряду римских императоров одному Морозову известен 25-летний захват власти Иоанном Златоустом. От Петрония до Ромула Августула был не один император, а 9, при чем Рецимер, фигурирующий здесь у Морозова, был не императором, а начальником войска. Пропущен Констант (340—351). Аркадий и Гонорий, правившие одновременно, показаны как последовательные кесари, Константин Великий правил только 13 лет, а всего 31 год, так что дата Морозова—25 лет—ни в том, ни в другом случае не годится. Констанций II правил не 24 года, а 11 лет, Валент не 15, а 12 лет, Валентиниан III не 11, а 30 лет. Правда, Морозов делит эти 30 лет на два звена: опеки и самостоятельного царства и для параллели 21 году опеки измышляет уже указанный 21-летний период израильского междуцарствия».

Таково самое убийственное место для моих выводов во всей статье Н. М. Никольского.

Я вполне понимаю, что мои друзья,—не специалисты по истории,—пришли в панический страх, читая эти 17 строк текста и подумав, что благодаря им от моих сопоставительных таблиц ничего не осталось, кроме обломков. Посмотрим, так ли это на деле.

Прежде всего Н. М. Никольский, как видно из его собственных слов, даже и не подозревает, что о всех приводимых им цифрах с давних пор существуют целые томы ученых исследований, основанных на сравнении различных вариантов. В простоте душевной он взял свои сроки царствований по прямому тексту русского перевода Библии, тогда как я брал их по научно обработанным данным знаменитых английских гебраистов Usher'a, Gieswell'я, Hodge'a и Halles'a, у которых он найдет не только все мои цифры, но даже и никому кроме меня неизвестное (по его словам) междуцарствие.

Причины этого несогласия лучших исследователей Библии с приводимыми Н. М. Никольским датами я поясню (для обычного читателя) таким наглядным примером.

Существует анекдот, что одна дама, Вера Ивановна, сказала раз другой, Марье Петровне:

— Вашего сына только что призвали на военную службу. Значит, ему 20 лет, а вы его могли родить не ранее 18-летнего возраста. Значит, вам теперь не менее 38 лет, а как же вы говорите, что вам только 28 лет?

— Мне и есть 28 лет,—отвечала Марья Петровна,—если вы будете считать, как я, точным прямым счетом. А когда вы начинаете употреблять какие-то косвенные способы со сложениями и вычитаниями, то, конечно, можете доказать, что мне и 200 лет.

И вот, представьте себе: то же самое случилось и с библейской хронологией. Там (в ней самой!) есть и прямой счет по способу Марьи Петровны и целых два косвенных по способу Веры Ивановны. Прямой счет по Марье Петровне заключается во фразах почти о каждом царе: «ивремя царствования его было столько-то лет». А два счета косвенных, по Вере Ивановне, состоят в том, что о каждом израильском царе говорится еще, на *каком* году современного ему царя иудей-

ского он родится и на котором умер при его преемнике, а о каждом иудейском царе наоборот.

В нескольких случаях все три счета дают одинаковые результаты, а в нескольких других, два косвенные счета отличаются от прямого иногда даже и на 10 лет.

Хронологию библейской истории с давних времен обратили внимание на эти невязки и посвятили их разъяснениям огромное количество труда. Об этом существует целая литература, и окончательным ее результатом быто то, что согласовать все числа, не обижая ни библейской Марьи Петровны, ни двух ее Вер Ивановен, опровергающих ее косвенными вычислениями, можно лишь при одном условии. Это — допустить в иудейской истории междуцарствие в 11 лет (по Hales'у) между Амасией и Озией, а в израильской 22-летнее междуцарствие между Иеровоамом II и Менахемом, при чем двух кратковременных царей Захарию и Солома, царствовавших в сумме лишь полгода, можно поместить и в начале этого междуцарствия и в конце, допустив, что Менахем не мог воцариться тотчас после убийства им Соллума и что ранее, чем он приобрел себе достаточно сторонников, прошло около 22 лет междуцарствия.

Итак, известное, по мнению Н. М. Никольского, одному Морозову междуцарствие в Израильском царстве оказалось известным гебраистам и до него, а Морозову оно даже было и не нужно, так как прибавив эти 22 года к Менахему он и получил бы точное время царствования соответствующего ему Валентиниана под опекой и после нее. Даже лучше!

Проверим теперь и эти «времена царствований», приводимые Н. М. Никольским.

«Менахем,—говорит он,—царствовал 14 лет, а не 10». Неправильно. По сопоставлению различных текстов и их научной сверке ученые гебраисты Greswell, Hagne и Hales считают, как я, равно 10, а по Usher'у 11, и никто из серьезных обработчиков не может считать 14, как мой критик. Да, кстати сказать: и самые 14 лет я был бы охотно готов принять, потому что общий вид моей диаграммы не попортился бы от прибавки сюда 4 лет.

«Пеках (Фока) царствовал,—поправляет меня Н. М. Никольский,—6 лет, а не 20. Но позвольте! По Hales'у, Usher'у и Greswell'ю он царствовал, как у меня, 20 лет, а по Hagne'у—19.

«Осия,—говорит далее мой критик,—царствовал 8 лет, а не 1 год». Но ведь в моей же таблице написано, что этот один год он царствовал до пленения, т.-е. до суверенитета Салманассара, а время его царствования, как вазала Салманассара, исключено мной по той же причине, по какой исключено и такое же время жизни в плену соответствующего ему Ромула Августула.

Таковы пороки, найденные Н. М. Никольским на левой стороне моей сопоставительной таблицы, и вы видите сами, что он так убийственно полемизировал тут не со мной, а с самой древней историей, с лучшими авторитетами гебраистики, из которых я взял, и притом с собственной внимательной проверкой по оригиналу Библии, все свои числа и указания. Я понимаю, что бесполезно отправлять читателя в Британский музей или в наши государственные книгохранилища для проверки моих указаний по подлинникам, и потому я осто предлагаю посмотреть все приведенные мною числа и междуцарствие на стр. 194 доступной каждому книги The English Version of the Polyglot Bible, изд. S. Bagster and Sons с обширными и исчерпывающими приложениями.

Перейдем теперь на правую сторону моей опровергаемой Н. М. Никольским таблицы.

В тексте к ней я объясняю условия, при которых еврейский автор перечислял римских властелинов. Я указываю там, что в то время еще не было установлено какой-либо общей эры. События каждого царствования считались от воцарения данного властелина, а когда были два или три соправителя, правившие коллегиально или консулярно, то придворные хроникеры одного из них считали события от его воцарения, а придворные другого от воцарения своего. Все такие монографии были собираемы позднейшими компиляторами, желавшими составить из них полную династическую историю. За неимением никакой общей эры биография одного соправителя ставилась в общем изложении вслед за биографией другого или наоборот, а не в два (или три) столбца рядом на той же странице, чтобы ясно видна была их современность. От этого вышло недоумение дальнейших средневековых обработчиков, в числе которых был и Евсевий Памфил, и автор библейской книги «Цари». С детства привыкнув к идее теократической монархии, самое имя которой значит *единодержавие*, они не могли даже и представить, что когда-то могли быть в одном и том же единодержавном (монархическом, по-гречески) царстве сразу двое или трое единодержавных же императоров-соколлегов.

А так как для соблюдения уже в'евшегося в их кровь и плоть лозунга: «един бог и один царь, помазанник божий»,—надо было соправителей превратить в единодержавцев, то им ничего и не оставалось делать, как одного из них сделать предыдущим, а другого последующим, при чем выбор был чисто индивидуален или прямо случаен. От этого и произошли две вариации: библейская и Евсевия Памфила, легшие в основу двух моих синоптических таблиц, так неудачно опровергаемых Н. М. Никольским. А тожество этих псевдинодинастических списков с более правильными и достоверными правительственными списками Сократа Схоластика подтверждается (как может убедиться сам читатель, пересмотрев снова эти главы моей книги, детальной разработке которых будет посвящен целый отдел одного из следующих томов) не одним количеством сходства последовательных лет царствования, а и качественным параллелизмом всех особенно выдающихся событий. Кроме того, один из соправителей легко мог быть обращен несимпатизирующим ему компилятором в простого наместника или полководца и таким образом выпасть из списка.

К чему же сводятся теперь возражения Н. М. Никольского, если он предварительно не опроверг эту мою теорию, основанную на явном теократическо-монархическом характере всей библии и греческих клерикальных историков вроде Евсевия Памфила?

«Аркадий и Гонорий,—говорит он,—правившие одновременно, показаны, как последовательные кезари».—Не мной.—отвечу я,—а теократическим монархистом (т.-е. единодержавцем), составившим книгу «Цари» и неспособным себе даже представить, что бог мазал сразу двух царей на одно царство. Это не допущено в Библии даже и для «судей».

«Константин Великий,—продолжает Н. М. Никольский,—единолично правил 13 лет, а всего 31 год, так что дата Морозова—25 лет—ни в том, ни в другом случае не годится». Но почему же он пропустил третий момент, наилучший из всех возможных, т.-е. 18 октября 312 года, когда Константин, победоносно взяв город Рим, завоевал Италию, и изгнал из этой столицы мира ее прежнего

властелина Максенция, который тут же и утонул в Тибре при бегстве? Ведь только с этого момента его и можно считать действительно *римским* императором. а от 312 года до смерти Константина и прошло, как у меня, 25 лет. Почему игнорирует это мой критик, совершенно не понимаю.

«Констанций II,—говорит Н. М. Никольский, правил не 24 года, а 11 лет». Но и тут—увы!—выходит по-моему. Он умер в 361 году и был наследником Константина, умершего в 337 году и давшего ему звание цезаря еще при своей жизни.

«Валент,—говорит мне критик,—правил не 15, а 12 лет». Но Валент,—насколько мне известно,—вступил в управление вместе со своим братом Валентином 26 февраля 364 года и был убит под Адрианополем 9 августа 378 года, значит, царствовал 14½ лет, и это несравненно ближе к моим 15 годам, чем к 12, ведь, я считаю в целых числах. Притом же, если я и уступлю Н. М. Никольскому требуемые им три года, то это мало повредит моим графикам.

Что же еще остается от обвинения меня автором в историческом невежестве? Остается, будто бы, одному мне известный захват власти Иоанном Златоустом. Но опять—увы!—этот теократический захват светской власти известен всем, кто читал биографию Златоуста и знает, как он обращался со слабоумным императором Аркадием и его женой Евдоксией. С точки зрения клерикального историка, действительным главой государства был он.

Что же мы здесь видим? Только одно.

Моя таблица I вышла из боя победительницей и даже без больших синяков на своих бречах. Я могу только порадоваться такому ее испытанию.

Но то же самое случилось и с нападками Н. М. Никольского на мою вторую сопоставительную таблицу, где я указываю на параллелизм между династическими событиями II и III Латино-Эллино-Сирийско-Египетской империи.

«В самом конце ее,—говорит мой критик (стр. 175, строка 26).—вместо одного Каракаллы мы читаем: Марк—Аврелий—Антонин — Каракалла», и Н. М. Никольский ставит в скобках знак неожиданного изумления (?). Выходит из его слов как будто я вместо одного Каракаллы выдумал *четыре* царей! Но здесь и я уже готов поставить даже два знака неожиданного изумления. Неужели профессор истории Н. М. Никольский еще не знает, что Каракаллою и назывался Марк-Аврелий-Антонин, и что такое его прозвище было дано ему лишь после того, как он ввел при своем дворе франкскую накидку, называвшуюся каракаллою?.. Предлагаю посмотреть в любом энциклопедическом словаре.

«Сопоставляя таким образом тождественные таблицы (Морозова),—торжественно заявляет автор,—можно доказать, что не только любых русских, французских, немецких, английских государей не было, но что и они являются только псевдонимами римских императоров от Аврелиана до Ромула Августула».

А я на это отвечаю:

— Если вы, многоуважаемый Н. М.,—сделаете такое отождествление не только на словах, но и на деле, то я обещаю вам взять назад все, что я написал в своей книге, и даже объявлю всю математическую теорию вероятностей, на которую тут я ссылаюсь, за простую шутку Якова Бернулли, а до тех пор буду твердо оставаться на своей позиции в полной уверенности, что ни мне, ни Якову Бернулли, никогда не дожидаться такого посрамления.

Этим я и закончу свой ответ на историческую часть критики Н. М. Никольского, в которой его, как профессора истории, надо бы считать более компетентным, чем меня, никогда не претендовавшего на эту кафедру. Перейду на минуту к историко-астрономической части. Н. М. Никольский не сомневается, что в моих астрономических вычислениях нет ошибок, но продолжает повторять сотни раз уже повторявшееся и сотни раз опровергавшееся мною возражение моих оппонентов, будто я неправильно *толкую* алокаиптических коней, как планеты, хотя сам же говорит далее, что такими считают их и ассириологи, вроде Иеремиаса (над изучением которого, так же, как и Куглера и Эшинга у Штраймайера я потратил немало времени, прежде чем решился вычислять время клинописных планетных констелляций).

Автор почему-то предполагает, что я не знаю о том, что в вавилонских текстах слово Мардух обычно толкуется как Юпитер, но иногда его толкуют и как Меркурий, что слово Ниргал принимают в одних случаях за имя Марса, а в других за имя Сатурна и т. д. Но—увы!—после многих десятков или даже не одной сотни напрасных проверочных вычислений, я убедился, что эта путаница названий принадлежит совсем не месопотамским астрономам, а их толкователям, и даже определил, как она произошла.

Ассириолог, нашедший клинописный документ, приходил к заключению, большею частью путём сопоставления с опровергаемой мною теперь библейской хронологией, что он принадлежит, например, царствованию Набунасаара. Он дает его копию астроному с просьбой определить время, когда указанные там Мардух, считаемый за Юпитера, Ниргал, считаемый, положим, за Марса, Ниниб, считаемый, положим, за Сатурна и т. д., были в указанных для них созвездиях. Астроном вычисляет и говорит, что такой планетной констелляции в данный ему промежуток времени не было. Как тут быть? Перенести царствование Набунасаара в другие века ассириолог принципиально считает невозможным, так как это повлекло бы разрушение всей установившейся веками хронологии. Остается один выход: «автор клинописи, хотя он и профессиональный астроном-наблюдатель, перепутал имена планет».

— Не выйдет ли чегонибудь подходящего,—говорит он астроному,—если (говоря для наглядности по-русски) Юпитером клинописец называет Марса, Марсом Сатурна и так далее?

Астроном проверяет снова движения планет за указанный ему промежуток времени, и так как планеты разнообразно перемещаются по небу, то непременно и находит в том или другом году нечто подходящее при том или ином переименовании планет. Задача считается решенной, а относительно месопотамских астрономов устанавливается приведенное Н. М. Никольским мнение, будто они не знали твердо даже и имен семи планет. Но если они даже этого не знали, то что же они знали по астрономии? Выходит, что абсолютно ничего. А о цветах планет и говорить уже нечего. Все мы скажем, что Юпитер всегда бел, что Меркурия редко можно видеть и потому он правильно считался темным или черным, подобно новолунному месяцу, а когда удается его видеть, то он всегда красноват.

Но вот Н. М. Никольский напоминает мне, что в «восточной символистике одной и той же планете (о, ужас для современного астронома!) приписываются разные цвета, например, Юпитеру—то желтый (!), то белый, Меркурию—то голубой (!), то черный, то белый (!)». Но ведь это для меня все равно, что

сказать: «в восточной символистике европейцу приписывается то желтый, то черный цвет лица, негру—то белый, то голубой, а китайцу не только желтый, а иногда и зеленый и фиолетовый». И если ни один серьезный древний этнограф не мог сказать такой дикой вещи о цветах человеческих рас, то и ни один древний астроном не мог сказать о планетах то, что приписывает им Н. М. Никольский со слов невежественных лиц, для того, чтобы скомпрометировать в глазах людей, никогда не интересовавшихся ночным небом, мои отождествления планет по цвету в главах об Апокалипсисе и пророках.

И я покажу в следующих томах моего исследования «Христос», что старинные месопотамские, египетские и греческие астрономы хорошо знали цвета своих семи планет и твердо помнили их имена, и мы не найдем у них никакой путаницы ни имен, ни цветов, если отнесем и клинописи, и египетские иероглифы в ту же позднюю эпоху, в которую я отнес царства израильское и иудейское. А теперь я перейду к другим астрономическим опровержениям Н. М. Никольского.

«Белый конь (апокалипсиса),—говорит он,—действительно может быть Юпитером, но может быть и Венерой» (стр. 164).

— Но ведь Венера,—восклипаю я с недоумением,—не отходит далеко от Солнца. Она не может быть в созвездии Стрельца, в котором показан Белый конь, когда солнце находится на противоположной стороне неба, в Деве, с чем соглашается и Н. М. Никольский, цитируя XII главу Апокалипсиса, где говорится, что в тот же самый день автор Апокалипсиса видел на небе «Деву, одетую Солнцем, под ногами которой была Луна».

Я еще в 1907 году показывал в первом издании своей книги «Откровение в грозе и буре» невозможность тут другого выбора между двумя белыми конями, кроме моего выбора, повторял это в каждой новой статье или лекции по этому предмету, а мне вне вновь и вновь предлагают это же самое, с самого начала предусмотренное мною и опровергнутое, возражение, как сказку о белом бычке.

«Черным конем,—говорит далее мой оппонент,—мог быть не только Меркурий (как у меня), но и Сатурн».

— Постольку же,—отвечу я,—поскольку и негр мог быть китайцем. И если бы астрономы стали соглашаться на такие замены, то им ничего не осталось бы делать, как вывесить на дверях своих обсерваторий известное выражение Кузьмы Пруткова: «Если на клетке, в которой сидит лев, написано: собака, то не верь своим глазам».

«На обязанности Морозова,—говорит Н. М. Никольский,—раньше вычисления лежало доказать, что конь Черный—Меркурий, а не Сатурн».

Но по заслужившей для меня (и несчастной для моего оппонента) случайности, на мне как раз и не лежало такой обязанности. И Меркурий, и Сатурн в Апокалипсисе указаны в одном и том же месте: близ промежутка между созвездием Весов и клешней Скорпиона под ними, так что принял ли бы я тут Меркурия за Сатурна или наоборот, вычисление времени дало бы мне тот же самый 395 год 30 сентября, какой и вычислил я по своему первому отождествлению.

Так рассыпаются и остальные, чисто астрономические, опровержения Н. М. Никольского. Чтобы не задерживать читателя, перехожу к филологической части.

Само собой понятно, что я никогда не претендовал и на кафедру восточной филологии. Латинский и греческий языки я знаю давно. С еврейским языком и, главным образом, с учением о корнях и значениях слов я ознакомился во время годичного заключения в крепости за стихи в 1912 году. Но у меня есть важное преимущество перед самыми глубокими филологами при чтении астрономических мест. Я ясно представляю описываемую в них картину неба, а они—нет. Я при переводе употребляю правильный астрономический термин, а они большею частью придумают, не понимая, такое словечко, что разинешь рот от изумления. Во всех случаях, когда переписчик искажил астрономическое слово, я легко реставрирую его по ясному для меня смыслу всей фразы, а это очень важно при исследовании древних документов, изъеденных переписчиками, как червями.

Для иллюстрации этого приведу хоть такой бывший со мною случай.

Несколько лет тому назад ко мне пришел один знакомый с журналом «Натурное Обозрение», издававшимся когда-то д-ром Филипповым, и с недоумением показал мне в нем такую фразу одного из наших профессоров ботаники: «При чисто логическом исследовании семи почек этого растения мне удалось выяснить его первоначальное развитие».

— Каким образом,—спросил он,—было можно исследовать почки растения исключительно одним логическим путем и зачем нужно было взять для этого именно семь почек?

Я на минуту тоже ослобенел, но затем расхохотался, так как когда-то занимался ботаникой.

— Это наглядный пример того,—ответил я,—что выходит, когда не знающий предмета человек приложит к нему свою руку. В ботанике существует термин семяпочка (т.-е. семянная почка), а наборщик и корректор исправили это неизвестное им слово в семь почек, а *гистологическое* исследование ее превратили в чисто логическое, и вышла невообразимая чепуха.

Имел ли я право, не претендуя на кафедру ботаники, поправлять так статью одного из наших учнейших ботаников?

Я думаю, что и Н. М. Никольский не выразит мне за это порицания. Но почему же нападает он на меня, когда такие же поправки по смыслу я делаю (и в этом случае уже по прямой своей специальности) в явно искаженных переписчиками астрономических фразах Библии, и называет это новым своевольным переводом? Ведь только что цитированная мною статья с семяпочками была лишь в первом воспроизведении рукописи автора, а первоначальные рукописи Библии переписывались одни с других последовательно сотни раз, прежде чем дошли до печатного станка, и потому можно себе представить, сколько различных семяпочек пустило в них свои ростки! Переводить Библию, не реставрируя ее темных фраз по смыслу, совсем нельзя.

Я не хочу переписывать здесь всех филологических опровержений Н. М. Никольского, чтобы не отпугнуть читателя древне-еврейскими словами, и ограничусь только одним примером.

В русском переводе Библии есть книга «Парапипоменон». Почему ни славянские, ни русские переводчики не решились перевести на свой язык это греческое слово, хотя и перевели названия всех других книг вроде Бытия, Исхода, Чисел, и т. д.?



Почему и в западно-европейских языках это греческое название заменили другим, греческим же, словом «Хроника», хотя это и странно? Ведь если бы греческий автор имел в виду такое название для своей книги, то и назвал бы ее сам хрониконом, а не паралипоменом, имеющим совсем другой смысл. Старинные ортодоксальные теологи, а следуя им, и Н. М. Никольский, проиводят это слово от греческого *паралейно*, т.-е. презираю, пренебрегаю.

Но назвать презренными делами историю самого «народа божия», составляющую содержание этой книги, конечно, очень странно, и потому понятно, что западные теологи подменили в ней одно греческое название другим греческим же, а восточные народы предпочли оставить его без перевода. Лингвисты с натяжкой толкуют, что название паралипоменон надо переводить не «презренные», а «забытые дела». Но в этом случае является другой вопрос: если эта книга была написана, когда вся история «народа божия» была уже забыта, то откуда же ее автор взял свои сведения? Для моей теории позднего происхождения библейских книг было бы чрезвычайно полезно уцепиться за такое название, но я не позволил себе это сделать, потому что не мог найти никаких указаний на то, что слово *паралейно* значило не «презираю», а «забываю», для чего у греков есть специальное слово. Мне пришлось в голову, что может быть паралипоменон происходит от *паралос*—приморский и *ипомене*—бдение (или от *ипомнема*—вспоминание, запись). Выходило: приморские бдения (или приморские записи), как будто эту книгу нашли в приморском городе. Кроме того, ведь для летописи есть на еврейском языке специальное слово *сфре-е-жкру-нут* (*sepher hasichreines*)—памятная книга, так почему же и по-еврейски книга Паралипоменон называется не этим именем, а *дбри-е-имим*, что по первоначальной транскрипции без пунктуации можно перевести и «дневные слова» (*jōmim*) и «приморские рассказы» (*jāšim*)? Почему, кроме того, и из книги Есфирь (6. 1) видно, что этим именем называлась лишь одна из летописей? Стараясь согласовать греческий и еврейский тексты и сверх того, видя, что по содержанию эта книга не более походит на летопись, чем и История Государства Российского Карамзина, я и остановился на нейтральном названии «Приморские рассказы».

Но я в высшей степени охотно принимаю перевод Н. М. Никольского, это даже вода на мою мельницу. А так как у меня есть данные подозревать, что книга Паралипоменон написана первоначально по-гречески и лишь потом переведена на еврейский язык (почему и попала в самый конец еврейской Библии), то я охотнее всего буду называть ее «Книга о давно забытом».

Отсюда видно, что если я и перевел ее название неправильно, то не потому, что бы не знал, что значит по-еврейски *имим*, а лишь потому, что знал об этой книге и ее именах более, чем нужно.

Точно то же вышло и с моим производством слова Юпитер от Ju-Pater, т.-е. Иегова-Отец. Ведь слово Иегова постоянно сокращается в еврейском словопроизводстве Ju, а слово Pater по-санскритски даже и пишется Piter, да, кроме того, и по-еврейски есть слово *Петер*—от глагола «освобождать», так что имя Юпитер можно считать целиком за еврейское и переводить Иегова-Освободитель.

Что же касается до упрека меня в том, что я перевожу греческое слово *скотос* словом «затмение», то правильность этого перевода видна из евангелия Луки, в котором к нему прибавлена фраза: *кай ескотисте о элиос* т.-е. «и за-

тмилось солнце», при чем «*эскотисте*» есть лишь глагольная форма прошедшего времени от того же слова *эскотос*, а вся прибавка Луки вызвана тем, что это евангелие писалось через несколько столетий после указываемого мною лунного затмения 21 марта 368 года, а потому и событие преувеличилось.

Точно так же неубедительно для меня и приводимое Н. М. Никольским утверждение некоторых старинных писателей, будто вавилоняне делили день и ночь всегда на 12 неравномерных часов, так как на словах это легко сказать, а исполнить на деле невозможно. Хотя в длине летних и зимних ночей и дней в Месопотамии и меньше разницы, чем у нас, но все же летние дни там длиннее зимних часа на четыре, а ночи наоборот. По солнечным часам считать неравномерными часами нельзя, так как тень шеста идет равномерно, а водяные часы пришлось бы устраивать таким нелепым способом: составить 183 банки различной величины, вместимость каждой разделить на 12 частей; в день летнего солнцестояния подставить на восходе солнца самую большую банку, калиброванную так, чтобы она вся наполнилась к закату солнца, а на закате подставить тотчас самую маленькую, калиброванную так, чтобы наполнилась целиком за ночь к восходу. При следующем восходе солнца подставить следующую дневную баночку, поменьше, калиброванную специально для этого дня, потом ночную для этой ночи, и так в продолжение полугода, после чего баночки пойдут обратным путем. Какой сумасшедший стал бы прodelьвать все это, когда у него уже имеются удобные для него равномерные солнечные, песочные и водяные часы?

Как может автор хоть на минуту поверить этой глупой басне средневековья и предлагать ее мне, как опровержение основ моего вычисления времени столбования евангельского магистра оккультных наук, воскрешающего мертвых и превращающего воду в вино? А относительно тогдашнего счета времени с вечера прямо говорится, что еврейские сутки начинались, как и теперь, с вечера: «и был вечер и было утро первых суток». А против того, что Василий Великий был привязан к столбу еще с утра, я ничего не имею: столбованные мучились раньше, чем умирали, и по несколько суток.

Резюмирую же все сказанное.

Из всех опровержений Н. М. Никольского я могу согласиться только с тем, что название *паралитоменов* лучше производить от греческого *паралейно*—«презирать» и озаглавить эту книгу: повесть о делах давно презренных и забытых современниками ее автора. И больше пока ни с чем. Некоторые из его возражений, вроде Каракаллы, можно возвести в анекдот. Такие неосторожные вещи можно говорить только в страстном полемическом увлечении на митинге по пословице: «мое слово не воробей, вылетит—и ты его не поймашь», а не закреплять за собою печатным станком. Остальные же его возражения безусловно опровержимы или устранимы, как не имеющие ровно никакого значения для прочности моих основных выводов.

Н. М. Никольский напрасно проивизирует, говоря, что я только из скромности не ввел в лестницу человеческой культуры и своего «астрономического переворота в исторической науке». Этот переворот, несомненно, произойдет и без меня, и не по вине одной астрономии, а всего естествознания. Падение клерикализма в XX веке неизбежно приведет и к падению созданной им ортодоксальной древней истории. Новая история останется, конечно, как была,

а средневековая сильно обогатится за счет обломков псевдо-древней и осветится ими, как нечто закономерное, возможное для теоретической обработки.

Я с нетерпением жду действительно научного и беспристрастного обсуждения моей книги. Я вполне допускаю, что некоторые второстепенные положения, выдвигаемые в ней, в процессе критической обработки ее другими окажутся поколебленными. Ведь в данном случае речь идет не о математически доказываемой теореме и не о непосредственно наблюдаемых явлениях человеческой жизни, а о давно минувших событиях, на которые мы смотрим через искажающие их призмы веков. Но я уверен, что под развалинами разрушаемого мною искусственно созданного здания древней истории будущие исследователи найдут новые факты, которые убедят всех и каждого, что я не напрасно потратил долгие годы для того, чтобы стряхнуть с хартии веков накопившуюся на ней пыль.

НИКОЛАЙ МОРОЗОВ.

# По Советской земле.

*Василий Каменский.*

## Ярмарка в Насадке.

В дореволюционные времена не один раз бывал я на июньских ярмарках в небольшом селе Насадке, что в 50 верстах от Перми, а от нашего хутора, от Каменки, 10 верст.

Как сейчас, помню прежнюю картину: церковь полна народу, около церкви еще больше, рядом на площади торговые палатки с мясистыми торговцами, среди крестьян много пьяных, и «телеги перепутались» (по Некрасову), и всюду в толпе сияет в полной форме «сельский губернатор» — урядник.

И кругом вывески: волостное правление, казенная (монополюшка), торговля купца Рябова и других Рябовых.

К концу ярмарки обязательно несколько драк с кровопусканием, а когда едешь домой, то кой-где по тракту, как следы «былого», валяются в сторонках мычащие бледные жертвы монополюшки, с присущим этому случаю запахом, со всеми рвотными последствиями.

Теперь картина совсем иная.

Советская Насадка неузнаваема.

В церкви народу мало, только бабы с ребятишками, да старики со старухами, да разве кто из кулачков.

Около церкви, кроме трех нищих, никого.

И это очень знаменательно, так как в старое время старая церковь была как бы стержнем праздничного события — благословением свяще, и, конечно, по-своему, «по-святому», торговала недурно.

Ныне не то.

Церковь не играет никакой роли, церковь отжила, состарилась и, подобно старушке, доживает свои последние дни.

Ореол «святости» как рукой сняло, иконы окончательно почернели, церковный староста выглядит сконфуженно, а поп так грустно служит молебны, что у него выходят панихиды.

А кому же панихиды нужны? — ни живым, ни мертвым.

Церковь потеряла свою аудиторию прихожан.

Зато как раз против церкви, где было прежде волостное правление, народу черным-черно, и над головами краснеет вывеска: Насадский Сельсовет Сергинского района Пермского Округа.

И рядом — Насадская школа имени Ленина.

Около: Торговля Насадского О-ва потребителей.

Чуть дальше: Насадский Народный дом, имени 5-й годовщины Октябрьской революции.

А там, где была когда-то николаевская монополюшка, — там вывеска: Насадское Сел-Хоз. Кредитное Т-во «Заря Крестьянина».

Едва протискиваюсь в сельсовет, мимо плакатов пермских газет «Звезда» и «Страда».

В маленькой отдельной комнатке сидит за столом председатель, местный молодой крестьянин, коммунист Двинянинов.

Он принимает от крестьян районный налог и недоимки, пишет квитанции и между делом умным, острым, как пулемёт, языком рассказывает мне о работе сельсовета, о всяческих нуждах и наблюдениях.

О том, как они открыли кредит безлошадным крестьянам на покупку 20 лошадей.

О том, как крестьяне, страхуя строепья, почему-то боятся страховать посевы и скот.

О том, что бедняки-крестьяне платят налог гораздо аккуратнее зажиточных.

О том, что они организовали коллективную покупку на сел-хоз. машины.

О том, что на многое прекрасное нет денег...

Слышу, раздаётся телефон.

Председатель кричит:

— Эй, кто там—подойдите к телефону!

Тов. Двинянинов весь горит в работе и всех удивляет своими широкими экономическими сведениями, своей крепкой памятью, своей необычайной подвижностью, живой смекалкой.

Настоящий председатель, с настоящей популярностью.

Сельсовет—голова крестьянской жизни.

И радостно, приятно, когда в такой голове сидит такой председатель, а не прилизанный, как в старое время, деревянным маслом, волостной старшина, за которого ворочал делами волостной писарь.

Вся Насадская ярмарка пахнет кожей, так как здесь, главным образом, «интересуются» коженными товарами.

Частных торговцев мало.

Больше торгуют артели, кооперации, кустари.

Всюду конская упряжь, сапоги, ремни, заготовки, ободья, одры, бураки, бадейки, смола, грабли, литовки, коромысла, мануфактура, железные изделия, сласти.

Отличается Кинделинская коженно-производственная артель: у них женские ботинки продаются по два рубля 80 копеек, а кинделинский товар превосходит.

Большие сапоги—7 с полтиной.

Торгуют сергинские и насадские кооперации, торгуют кунгуряки, торгуют татары.

Пахнет новой кожей, дегтем, махоркой, пряниками и чуть-чуть кумышкой: без этого уж никак нельзя.

Пестрота, шум, гармошка, галдёж.

И тут же на поляну вдруг вбегает фыркающий табун насадских лошадей.

Все шарахаются.

Всюду около заборов и по дворам стоят телеги с корзинками приезжих.

Всюду в окнах изб видны нарядные гости за сияющими самоварами.

Девки и бабы разодеты в пух и прах.

Все направо и налево лущат семечки.

Некоторые сидят на полянке, читают вслух газеты.

Разговоры разные, а больше деловые:

— Мишка, сколь за одер-то отдал?

— А как и раньше—три целковых.

— Записался в кооперацию?

— Записался.

— Ванюшка, пойдем в сельсовет, спросим, а?

— Айда.

— Эй, рыбак, почто ты такие большущие сапоги купил?

— Больше выжу.

— Маруся, ты чего купила?

— Платёчек да ситёчко для молока.  
 — Бери, дурак, серебром, бери.  
 — Не надо, я не сребролюбец, да и кошелька нет.  
 — Ну ты, электрофикация, не напирай!  
 — Да, у нас, в Староверах, брат, электрофикация, лампочки Ильича, а у вас, шардинцев, что? Темь старорежимная!  
 — Ишь ты, гляди: милиционер-то какой франт--при галошах, при часах.

— Здравствуйте, тов. Павлов, как дела в пермском окружкоме?  
 — Двигаем!  
 — А как ваши дела в комхозе на «Хуторихе»?  
 — Тоже двигаем. комхоз растёт!  
 — Тюнька, ты заплатил райналог?  
 — Как отдал, так и отлегло.  
 — Ох, Кузька, и налетел же я вчера с порубкой на лесничего

Букина.

— Букин сурьезный—он те пришьёт!  
 — Едем домой вместе.  
 — Нет, я до вечера буду, в народный дом пойду, там слышь. представлять будут. На пианине сыграют.  
 — Машка, нос-то вытри, ведь ты камфеты сопёшь!  
 — Ты, Ефимыч, слышал, что Настю-ворожейку расстреляли?  
 — Туды ей дорога, убийце окаянной, со всей компанией.  
 — Ну, ребята, и пива же я хлебнул—ровно причастие.  
 — Это видно.  
 — Угости папиросочкой, охотничек.  
 — С нашим уважением,—ешь!  
 — Хотел я дугу купить, а дуг почто-то и нет.  
 — А ты в Пермь езжай, в Пермь.  
 — Там спекулянты обтяпают, боюсь.  
 — Ух, скоро ли придёт конец этим проклятым спекулянтам.  
 — То ли дело наши кооперации!  
 — Всё на ладони.  
 — Ну, как делишки, товарищи хуторяне?  
 — Идут. Вот сообща сеялку купили, сообща молотилку заказали, сообща книг по хозяйству на шесть с полтиной завели.  
 — Вот оно, сообща-то!  
 — Дело! К этому подвигаемся.  
 — К многополью!  
 — А ты, Егорша, видал портрет Ленина в народном доме?  
 — Видал, и Калинин там.

Я зашел в Народный дом—довольно просторное помещение со сценок, над которой надпись: «Наука и искусство только трудящимся».

Пол засыпан семечками.

На окнах сидят разряженные девахи, грызут семечки, дополняя украшение пола.

Перед отъездом с ярмарки я зашел к знакомому крестьянину, Андрию Дементьевичу Кокшарову, который ведет хозяйство по-культурному: держит племенной скот, взвешивает удои молока, даёт корм по норме, производит опыты на полях.

Андрей Дементьевич повёл показать, как он пшеницу сеет ленточным посевом (через ряд сеялки), заменяя удобрение тщательной обработкой земли.

И действительно: зелень пшеницы на его полях отменно густозелёная и рослая.

Этим посевом он достигает укрупнения семян и улучшения качества пшеницы.

И жена его не менее энергичная хозяйка.

И ребятинки—здоровьки на славу.

В избе чистота, порядок, любо смотреть.

Плюс к этому—Андрей Дементьевич из малоземельных, из малоимущих.

Только всего ядрёная голова на плечах: как умеет, как может, гонится за культурой, подавая сотоварищам-сельчанам достойный пример.

Молодец, Андрей Дементьевич! Он, таким образом, как бы завершил мое светлое впечатление и от ярмарки и от той новой советской Насадки, которая воистину переменялась до неузнаваемости в превосходную сторону нашего нового быта.

Через час нас перевозил через Сылву на пароме приятель Василий Кузьмич из деревни Кисловки, где недавно мы рыбачили с ним на славном озере Чагино, таская окуней.

Василий Кузьмич, улыбаясь, говорил:

— Ну, и горячий день—почаще бы таких! Вот здорово зажили бы, а? Приезжайте-ко на ущербе, опять порыбачим, а?

## Пермь и Кама.

С любовью трепетной, искренней, неугасаемой от розовых утр далекого детства до этих последних минут моей взрослости благодарен я своей родине, Перми и Каме.

Собственно, родился я в глубине Урала, на золотых приисках Теплой Горы, где отец служил смотрителем приисков, но после смерти родителей, с 4-х лет и всю свою юность я жил в Перми, на заимке, на самом берегу Камы, на буксирной пристани пароходства Любимова, в семье родственников Трущевых.

Так что Пермь и особенно Кама, со всеми ее возможностями, закрепили острой памятью в моей жизни, сделал меня поэтом.

Теперь Пермь—тихая старушка-мать, потерявшая в бурю великих событий многих своих сыновей и дочерей.

Зато Пермь живет иной жизнью, иными людьми, иными ингересами.

Нынешняя Пермь, полная сил возрождения или, по крайней мере, порывов к этому возрождению, к общему счастью, ничего общего не имеет с Пермью прежней—патриархальной, церковной, губернской.

Жаль лишь, что гражданская война, как землетрясение, оставила много разрушений, много беды.

При нашей бедности эту мрачную картину трудно поправить сразу, но давайте верить, что современем поправим, даже похорошеем.

«Нам ли, строящим жизнь, унывать  
Или смотреть исподлобья и тускло!  
Тем и прекрасна дорога, нова,  
Что у нас наготове железные мускулы,  
Эй, васучивай рукава!»

Да, переменялась Пермь, преобразилась, всё не так, всё—сызнова, всё по-другому, по-невиданному, по-неслыханному, на советский трудовой лад.

Например: где жил и царствовал губернатор—там медико-санитарный отдел и на заборе написано: «Береги здоровье!»

Где была губернская чертёжная—там редакция «Звезды» и «Страды».

Где была женская гимназия Барбатенко—там ГПУ.

Где была мариинская гимназия—там Дворец Труда.

Где была земская управа—университет.

Где было дворянское собрание—там клуб красноармейцев.

Где была казённая палата—там окрисполком.

Где торговал Досманов—там ГУМ.

Где торговал Эпфельбаум—там рабочий кооператив.

И вообще много кооперативных магазинов на радость покупателям.

И т.д.—без конца.

Словом, прежней, старорежимной, чиновничьей Перми нет и не предвидится.

Советская Пермь—деловой трудовой лагерь.  
 Мощные гудки Мотовилихинских и Займских заводов стали всем близкими, родными, призывными, ободряющими.  
 Рабочий в Перми—у себя дома.  
 Крестьянин на базаре—свой человек.  
 Кругом—своя братия.

Разве лишь только что вернувшийся из Сибири белый пермяк, убегавший с Колчаком, чувствует себя никому не нужным, непрлаженным, отжившим и бродит одиноким Каином, мертвецки улыбаясь «редким знакомым».

А эти «редкие знакомые», старые пермяки, выглядят тоже довольно неказисто, безнадежно ожидая пришествия мессии...

Ждите, ждите, сердешные!

Молитесь крепче Николае многомилостивому: авось... ну, сами знаете...

Ох, пройду еще немалые годы, пока новая жизнь окончательно изживёт этих коварных, упрямых поджидателей «перемены», ослепших от мщения (хотя бы морального) за свою личную ничтожную судьбишку.

Впрочем, десяти лет будет достаточно, чтобы наши «внутренние враги» превратились в смехотворное воспоминание.

Пока же эти неприкаянные Каины мрачно бродят и пакостят, где могут: то продают спирт, то платину, то бриллианты или попадают со взятками, с растратами.

Из судебных процессов мы знаем об этом.

О, Пермь, Пермь!

Мне, твоему верному сыну, очень хотелось бы видеть тебя воистину возрожденной, обновленной, встряхнувшейся, взбудораженной довольством, высоким счастьем, сияющим над Камой.

Хочу верить, что так будет!

Пермь—вся в грядущем.

Это ничего, что настоящее «столицы Прикамья» вследствие нашей временной бедности—довольно уныло и серо.

Зато у нас есть реальное сознание, что мы экономически начинаем подниматься, вставать на ноги и, следовательно, понемногу богатеть, разживаться.

И, кто знает, быть может, какое-либо сцепление «гениальных обстоятельство» (ведь это бывает с городами) вдруг сразу протолкнёт нас на дорогу широкой культуры.

И мы увидим: бегущие трамвайные вагоны, автомобили, моторные лодки, яхты, летающие пассажирские аэропланы, новую архитектуру домов, асфальтовые мостовые, жизнь, бьющую ключом.

Во всяком случае, мы к этому стремимся.

Разве мы не были накануне трамвая? Даже построили парк в Разгуляе...

Помешала война..

Теперь ничто не мешает (кроме скудных средств) заниматься благоустройством города.

Однако, если изменилась Пермь, где к лучшему, где к худшему, где к страшному: зияющее разрушенное управление железной дороги,—то—никак не изменилась наша вечная красавица-Кама.

«Наша Кама-Камушка—  
 Родимая, как мамушка».

Как всегда была эта Кама неизбывным, неисчерпаемым очарованием—так и осталась величественной в своих крутых лесных берегах. Эта самая Кама и сделала меня человеком, рыболовом, охотником, поэтом.

С первых дней детства—изумлённый, ошарашенный камской привольностью, я втянулся всем существом в Каму, врезался, влюбился, и с той поры, начиная с ледохода каждой весны, все мои лучшие помыслы,



порывы, интересы, волнения, надежды, затие, приключения, опасности, проекты—были связаны с любимой рекой.

Здесь — на пристани (где был наш дом), среди буксирных парходов, барж, плотов, лодок, амбаров-лабазов, громадных грузов, среди матросов, грузчиков-крючников и пароходской команды я учился жить.

Это был своеобразный специфический мир со всеми захватывающими подробностями быта.

Но больше всего меня, конечно, увлекала закамская, т.-е. противоположная сторона Камы, куда мы с братом Алешей часто уезжали на лодке рыбачить на «ёлке» (под лодку с якорем спускается вершиной вниз ёлка до дна и ставится прикорм для рыб), или забивали «заездок»: колья, перевитые прутьями ивняка.

Рыбачили с ночевкой у костра, чтобы не проспать предсолнечный клёв.

И вот отсюда—закамская Кама, обвеянная легким туманом, тихая, голубоглазая, рыбацкая, таинственная, уютная, лесная, широкая, призывная, учила понимать и любить жизнь, и любить людей, особенно тех, кто в неравной борьбе за существование несёт непосильное тяжелое бремя на своих горбах, как грузчики.

Отсюда сквозь синеватый, приятно едкий дым костра, в ожидании греющегося чайника, мы разглядывали панораму Перми, воображая себя счастливейшими рыбаками на свете.

Еще бы: нас ждали окуни, под'язки, подлещики, ерши.

В кустах ждала лодочка.

Дело оставалось только за рассветом.

А с рассветом мы, оба затаенно-волнующиеся, тихонько отплывали на лодочке к рыбацкому заготовленному месту.

В тумане кое-где виднелись, чернели и другие рыбаки.

О, волшебница Кама, как нет конца твоему течению—так нет пределов для благодарных приветствий тебе.

Если бы я знал, что мне суждено утонуть в тебе, любимая река, я впервые бы поверил в бессмертие.

## Сотворение мира.

*(Религиозная беседа печника.)*

Случилось в селе Замухрыгине так, что старого попа верующие выгнали за пьянство, а нового попа еще не нашли, и получилось какое-то беспоповское время.

Верующие заволновались и начали наседать на своего брюхатого церковного старосту, чтобы скорей доставал попа, хоть какого.

Этим беспоповским временем воспользовался местный печник: Захарыч, любивший выпить не хуже изгнанного попа, и в одно из воскресений вместо обедни Захарыч объявил верующим, что он приглашает прихожан на свою религиозную беседу потолковать с библией в руках о сотворении мира.

Желающих старух и баб нашлось человек тридцать.

Верующие собрались в церковь.

Брюхатый староста кое-где зажег лампы.

Захарыч, слегка подвыпивший, притащил на средину храма полупудовую библию, стал за аналой, надел очки, туманно осмотрел верующих, икнул, высморкался и начал:

— Верующие люди, конечно, я не какой-нибудь знаток или священное лицо по специальности знания науки сотворения мира, но я по своей религиозности превзошел умом всю пропорцию этого положения и могу вам доложить, что полагается мыслителю по части нашей беседы. Ну, так! Ну, вот! Вы бы, Марфа Ивановна, стали от меня подальше и не глядели бы мне прямо в рот, как это очень неудобно и действует на мою нервную систему.

Марфа Ивановна отоща и проворчала:—За святое дело взялся, а от самого кумьпшкой разит. Господи, помилуй нас грешных.

— Ну, так! Ну, вот!—продолжал Захарыч.—Теперь является значит коренной вопрос о жизни существа сотворения мира и того положения, которое обязывает всех к вере святого писания. Что же мы видим? В книге Моисеева бытия сказано: вначале сотворил бог небо и землю. И сказал бог: добудет свет. И действительно, по всему фактическому обстоятельству произошел свет божий, который находится в нашем грешном распоряжении с полным правом. А мы, как свиньи, этого благодеяния не замечаем и жалуемся на судьбу: нам еще этого мало, дуракам, прости господи.

В этот момент в церковь вбежал рыжий угланишко и крикнул во все горло:

— Поп Захарыч, поп Захарыч!

И скрылся.

Захарыч покачал головой:—Вот они, эти самые комсомольцы, до чего доходят, что озорничают на потеху дьяволу. Чистый срам и чистое неуважение к святому делу.

— Это Митька-Рыжик,—объяснил староста,—у него и отец такой же отчаянный. В прошлом году в духов день с топором по деревне нагншом бегал, нечистая сила.

— Ну, так! Ну, вот!—продолжал Захарыч.—Во второй день бог создал небо, а на третий—землю. И сказал бог: да произрасти земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое. И действительно, все это мы видим на своей специальности и не можем понять, откуда это все взялось в такой благословенной пропорции и всяческих благ земных.

— Поп Захарыч! Поп Захарыч!—закричал снова рыжий угланишко и исчез со свистом.

Брюхатый староста схватил палку и бросился за озорником.

— Ах, ты, рыжий пёс, прости, господи!—крестился Захарыч, икая,—поймать бы его да нарвать уши.

— У него и отец такой же окаянный,—напоминала снова старуха.

— Да и мать не лучше, такая же,—заявила широкая баба.

— Ну, так! Ну, вот!—продолжал Захарыч:—На четвертый день бог создал небесные светила, а на пятый сотворил рыб и птиц, а на шестой создал зверей и человека по образу своему. И сказал им бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. И действительно, всё это в полном объеме производства имеется налицо, и мы это фактически видим вокруг себя отлично в высшей степени благодеянья. И сказано: почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И это всё в истинном положении сотворения неба и земли.

Захарыч сердито повел носом и заявил:

— До меня дошел тяжелый дух, и, значит, надо удивляться, что из вас кто-то так держит себя неаккуратно, просто безобразно. Здесь вы в храме божьем, а не где-нибудь в гостях. Это очень неудобно.

— Это, наверно, Клашка,—объясняла баба, заткнув нос,—стоять нельзя, ишь, репы обсопелась.

— Да, Клашка, ишь ты какая,—оправдывалась раскрасневшаяся Клашка.

— Прошу вас, верующая,—приказывал Захарыч,—немедленно выйти из храма божия куда-либо подальше.

Клашка убежала и на пороге крикнула:

— Сами вы вонючки!

— Комсомолка!—крикнул вслед Захарыч.

— У нее и отец-то такой же комсомолец,—проворчала старуха.

Староста пригрозил Клашке палкой.

— Ну, так! Ну, вот!—продолжал Захарыч.—Мы убедились в полном объеме, что бог сотворил мир в шесть дней, а на седьмой опочил. Теперь является вопрос—для чего же, для какой специальности бог сотворил человеческую жизнь? Неужели для того, чтобы мы жили, как свиньи, и не понимали своего положения недостойных рабов всевышнего?

Ну, скажем,—я печник и кладу кирпич к кирпичу, а в результате получается печь, которая кормит всю семью и обогревает внутренность помещения. Что это означает? А это означает, что и в жизни мы должны делать добрые дела и не забывать творца всей вселенной, который всё видит и слышит, но молчит по милосердию своему и долготерпению.

Несколько баб прослезилось.

В это время на пороге показался другой углан, постарше, Мишка, и крикнул:

— Захарыч, кумышки хочешь?

Староста с палкой бросился на углана, который исчез.

— Лупи его, дьявола,—закричал Захарыч.—Лупи, лупи дурака, чтобы помнил, где он находится—в храме божьем или в сельсовете.

— Это Мишка-Редька, он,—объясняли бабы:—Мишка-Редька!

— У него и отец такой же пьяница,—добавила старуха:—такой же варначишшо.

— Вот какое, значит, озорное племя пошло,—продолжал Захарыч:—что везде в каждую щель лезут и подают свой голос, будь они прокляты, анафемы и супостаты. Для них, окаянных, божие сотворение мира, можно сказать, пипочем, так, ровно какая-то спекуляция. Ох, голуштанники, пролетариаты, комсомольцы! Вот, православные, до чего мы дожили, прости нас, Николай-чудотворец. Не жизнь пошла, а столпотворение. Того и гляди, потоп начнётся.

— Плати продналог, и никаких,—вздыхала старуха.

— Чистая беда,—шептали бабы.

— Раз бог сотворил мир,—зевая, продолжал Захарыч:—и населил земли людьми, значит, мы должны понимать суть дела и не срамить себя перед господом, как свиньи. А, между тем, религия наша упала до такого положения, что наш старый поп записался кумышкой, и мы, конечно, его вышибли, по совести, а новый поп, еще неизвестно—пьющий или непьющий. И церковь наша теперь пуста, даже смотреть страшно. Доколе же, верующие, это безобразие будет продолжаться? Одно сожаление и больше ничего. Что же остается от сотворения мира? Одни дураки. Ничего больше не видать. Дураки да дураки. Другой раз, как помотришь в окошко, скучно, рвотно бывает: одни головотяпы на улице под гармошку воют, а что воют, собаки,—сами не знают. Одно охальничество, богохульство по всей экскурсии.

— Захарыч, брось дурака валять,—кричали вбежавшие ребята с палками:—что ты, архирей, что ли, обгориваешь баб. Ишь, какой святой напелся! Чего зря фальшь наводит? Выметайся!

— Ну, староста!—приказывали бабы.

— Мы сами старосты,—смеялись ребята,—пуская сунется! Выметайся, Захарыч, кончай обедню! Понимаешь?

Захарыч поспешно сложил библию, снял очки, клянул в престранство, хотел было покрепче «выразиться», но убоился святых угодников, и только тихо сказал бабам:

— Вот оно, время... Бог сотворил мир, а эти разные комсомольцы его пакостят.

## Библиография.

**Констатип Федин.** Города и годы. Роман. Гиз. Ленинград, 1924 г., стр. 387.

Роман Федина заслуживает большого внимания. Он интересен не только содержанием, но—особенно—композицией. По существу, это—роман авантюрный. Но в нем очень много материала бытового, моментов исторически ценных, а действующие лица полно и четко вырисованы психологически. Этим автор удачно достигает увлекательной занимательности наряду с подлинно-ценным, подноковным содержанием.

Схема самого приключения очень сложна. Главное действующее лицо—русский интеллигент Андрей Старцов. Застигнутый войной в Германии, он лишь в 18-м году, в разгаре гражданской войны, попадает на родину. Таким образом, его приключения развиваются на обширной территории 2-х государств, захватывая восемь наиболее напряженных лет мировой войны (1914—1922 г.г.). В приключениях принимают участие почти все, полагающиеся по шаблону, персонажи: благородный аристократ-маркграф, изменяющая невеста, беззаветно любящая женщина, друг юности, убивающий «друга» из «об'ективного принципа», и т. п. Несмотря на это, роман все же несомненно интересен. Это об'ясняется тем, что все «удивительные приключения» являются, собственно, только композиционным приемом, удачным способом для достижения значительности и сюжетной связанности. Основная же ценность романа в другом: в богатом психологическом и бытовом материале.

Так, например, жизнь Андрея в Германии, история его любви, побега и пр.,—все это сопровождается описанием *быта немецкой провинции*: тупой шовинизм, инвалиды, госпитальный быт, дамы-патронессы из высшего аристократического общества, первые дни германской революции и т. д. Точно также приключения Андрея в России сопровождаются описаниями *русского революционного быта*: голодающий, осажденный Питер, провинция в годы революции, повстанцы...

То же с *психологической* обрисовкой действующих лиц. Как общее правило,—у Федина человеческих *схем* нет. Большинство выведенных фигур нарисовано достаточно четко и убедительно (например, Сергей Петрович, Федор Лепендин, фрау Урбах). Тем не менее, из всех этих фигур подлинной ценностью, свежестью и типичностью для современности отличается лишь одна—Андрей Старцов. Это—тип *интеллигента* переходного времени. Он—на рубеже. Он переходит, *хочет* перейти от рефлексии к активности. Новая жизнь настойчиво разбивает пассивность, толстовское непривлеченчество и властно требует действия, борьбы... И Андрей это чувствует. Он тоже тянется к новому, но тяжелый груз наследственной «интеллигентщины» слишком тяжел. Андрей гибнет, ничего не совершив, гибнет на распутии...

Взятый из нашей живой, реальной действительности, образ Андрея Старцова—ценный вклад в современную литературу. В его лице живо и выукло зарисован один из последних

потомков индивидуалистически-расшатанной, неврастеничной, всецело растворенной в эротике, интеллигенции.

II. *Машбиц-Веров.*

**Александр Яковлев.** В родных местах. Рассказы. Изд. «Никитинские Субботники». Москва, 1925 г. 141 стр.

Яковлев — вдумчивый художник, который внимательно присматривается к жизни, но только сквозь розовые очки прекраснодушия. От этого изображаемые им люди — добры и прекрасны. Если жизнь мнет и давит человека, человек становится не ослобленным, а, наоборот, мягким, как воск. Яковлев идеализирует человека, и поэтому он видит в нем только прекрасные качества. У автора среда и житейские напасти не властвуют над личностью, которая, как огонек, ярче горит в темноте. О таком подходе можно спорить. Но одно несомненно у автора — глубокая любовь к человеку, и эту любовь он проносит через все страницы своей книги. Единственный враг человека — «людоед-время», излюбленный эпитет автора. В этой книжке есть только один рассказ, где писатель взглянул на жизнь без розовых очков. Это — «В родных местах» — лучший рассказ по своей убедительности и художественной правдивости. Рассказана история о графе, который вернулся после революции в ранее принадлежавшую ему деревню и поселился «дачником» у крестьянина. Граф и его семья, которые ничего не забыли и ничему не научились, воспользовались хитрым радушием крестьянина, сели ему на шею и дали простор своим паразитическим привычкам. В результате мужика выжили из его избы, отравили ему существование эксплуатацией его труда и старым барским чванством. Мужик, которому сперва льстила честь приютить у себя графа, начинает видеть истинное лицо своих господ и озлобляется. Прежние мечты о «повороте назад» сменились тревогой.

«Вот и поглядели, как господа живут да как с черным народом обращаются...»

Когда старый граф выпытывает у мужиков об их жизни, он слышит следующее:

«Теперь, благодаря бога, слово получше стало. В устроюку пошло».

А за глаза те же мужики говорят определенной: «Чтоб им передохнуть, чертям... И из опасения — «ежели царь вернется», наиболее решительные даже предлагают: «Не убить ли сейчас?».

В книжке кроме «Нечестивого kota-Фомки», в котором рассказан жуткий анекдот из дней голода, остальное из далекого прошлого — детских лет автора. Рассказы мастерски сделаны, но, как уже отмечено выше, действительность похожа на немецкую олеографию: много сладкого.

*С. Борисов.*

**Ольга Форш.** Леточный снег. Сборн. рассказов. Москва. «Земля и Фабрика». 1925. Стр. 119. Ц. 45 к.

Зачем понадобилось издавать эту книгу? Ни один рассказ не останавливает внимания.

Неужели найдется читатель, которому будут по вкусу все эти жалкие анекдоты, размазанные на 100 с лишним страницах вялым бесцветным языком провинциального фельетона?

Берем первый рассказ — «Примус». Тов. Еропеев ни с того, ни с сего на станции близ деревни Тряпуны получает приглашение от крестьян этой деревни «откушать, по причине смычки»(!).

Еропеев попадает в избу Дарьи Ткачевой — «я вам, дорогой товарищ, сварю на примусе такого крышова, такого, как у бывших помещиков на балах»(!)

«Денатурат, как вредно-одуряющее, воспрещен декретом», — говорит Еропеев.

«Удостоверение, дорогой товарищ, имею, полюбопытствуйте. Для производства малютки», — оправдывается Дарья.

Далее сей товарищ, до слез запугав крестьянку обвинением «в противонравственном сожигательстве с неодушевленной машиной на предмет производства малютки», призывает ей (Дарье) идти с ним на сеновал... Ничего себе аллегория смычки!.. И как это все бесвкусно, нелепо и надуманно. Ведь ясно, что с подобным знанием деревни можно

оставить в покое претензии на бытов-ной жанр.

Едва ли кто сможет одолеть и 10 страниц манерного описания поповского диспута.

Очень плохая книга «Летошний снег». Никакой культуры языка, никакой разработки сюжета, а, главное, скучно, безнадежно скучно!

Н. Б.

**Партизаны.** Сборник рассказов. Редакция П. Низового. Госиздат. Новая детская библиотека, старший возраст. Стр. 95. Цена 50 коп.

Сборник предназначен для юношеского возраста. В него вошли рассказы Ф. Гладкова—«Волки», П. Низового—«Командант Деменчук» и «Звериным следом», А. Новикова-Прибоя—«Зуб за зуб» и М. Волкова—«Петушок».

Подбор рассказов нужно признать очень удачным. Все они относятся к одной эпохе—годам гражданской войны, все рисуют борьбу именно партизанскую и, что самое важное, все написаны с одним, достаточно ярко выявленным, отношением к описываемой эпохе.

Рассказ Федора Гладкова «Волки» ярок и сочен. Как и в других произведениях этого писателя, здесь бросается в глаза прежде всего глубокое его знание мужицкой психологии, грубого, но красочного, языка деревни. И за тяжелыми, туманными и угарными речами партизан о революции, о воле, о жизни—встает простой и понятный смысл борьбы—за землю! Жутким кошмаром нависает конец рассказа—белогвардейская расправа. Хорошо, что автор не показывает ни мучений, ни пыток, ни моря крови: этот натурализм был бы ненужным здесь. Все ясно.

Из двух рассказов П. Низового первый как бы выпадает из общей темы сборника, разумеется, лишь с исторической точки зрения. Здесь—начало, истоки гражданской войны—неорганизованная, стихийная борьба с наступающими на Украину отрядами немцев. Классовое начало здесь уступает национальному. Все это, однако, не умаляет высокой правдивости самого рассказа. Второй рассказ—«Звериным следом»—ближе к

основной теме и вместе с тем художественно значительней. Первобытная мудрость алтайского жителя приводит и его в ряды противоборствующих партизан. Духом суровой природы Алтайских гор дышет этот небольшой красивый рассказ.

«Зуб за зуб» Новикова-Прибоя—самый крупный и самый занимательный рассказ сборника. В нем есть что-то от историческо-приключенческого стиля. Белогвардейские солдаты, переодетые в провокационных целях красноармейцами, импровизированный суд под открытым небом, живо зарытые в землю бунтовщики-революционеры, чудесное спасение одного из них, сбор партизан в лесу и ночное нападение на белый лагерь,—от всего этого веет героической сказкой, романами Дюма, приключениями Майн-Рида, всем, что так любит юношество в известном возрасте. Жаль, что у нас еще так мала подобная, столь же просто и хорошо написанная, революционно-приключенческая серия для молодежи. А пора бы.

Последний рассказ—«Петушок» М. Волкова—один из лучших у этого автора. Это маленький, тепло зарисованный, эпизод революции. Он с достоинством завершает удачный сборник.

Книжка эта нужна и интересна. Нужна прежде всего подрастающему поколению.

Жаль только, что изданная в целом довольно добросовестно, книжка имеет несколько нелепейших опечаток. Госиздат достиг здесь вершин небрежности, перепутав даже имя и фамилию автора (П. Гладков вместо Ф. Гладков). Надо подтянуться.

Н. К.

**Сергей Клычков.** Сахарный немец. Роман. К-во «Современные Проблемы.» Н. А. Столяр, Москва, 1925. Стр. 303.

Написать роман из эпохи германской войны напевным народным сказом—такова, очевидно, была цель писателя. Задача очень трудная и в такой же мере интересная: эпоху, близкую к современности, неразрывно связанную с нашими днями кровными нитями, преломить через приему того цельного крестьянского

мировоззрения, для которого сказки, сказания, легенды и сновидения— привычные формы мышления и мировосприятия. С этой задачей художник не вполне справился, разбухшая ткань сказа местами просвечивает знакомой автору и читателю книжностью и литературностью лирической прозы. Последняя, в свою очередь, иногда разрывается, и читатель неожиданно проваливается в газетный фельетон такого, напр., стиля: «обычно веселое его лицо становилось неузнаваемо» (стр. 15). Так недостаточно туго сплетенная ткань сказа и небрежность композиции расхолаживают, как и некрепко прилаженное название романа, как искусственно приставленная последняя глава, где мотив о «разголубой стране» повторяет сказку о золотой земле и правильных людях. Мечты о «блаженной» счастливой стране проходят через всю книгу—это художественное выражение смутных стремлений крестьянства к переустройству той жизни, которая завела его в тупик империалистической бойни. Тоска крестьян в окопах по трудовой повседневности, работе и хозяйству, переплет реальной обстановки на войне и в далеком тылу с мечтами-сказками—все это дано в красочном клубке, где стирается грань между реальностью и сновидением. Герой романа, любовно водимый писателем по этой грани,—прапорщик Зайчик. В нем, нескладном и неудачливом, сходятся все нити неторопливого рассказа не о событиях, но о *характерах* и властвующей ими необходимости. Вынужденное действие в силу давящей необходимости, а не по совнанию или желанию,—вот обычный побудительный мотив в деятельности героев эпопеи Сергея Клычкова. Прапорщик Зайчик близок к солдатской массе—«человек нашенский», «лавочника сын», предрассудки и темноту крестьянскую он разделяет вместе с массой, оттого и участвует в войне с немцем, что надеется: «убить бы его, и была бы свобода»... И хотя в романе центр тяжести не в событиях, а в людях, все же читатель выносит впечатление, что все зло в немце «с голоском сладким, как сахар, и грозным, как смерть», призрачным карликом

являющимся Зайчику. Немец, война, техника—разрушили крепко сколоченный быт, а как в нем было сладко кое для кого, об этом говорит целая поэма чаепития в семье лавочника, описанная в главе: «Чайный король». Герои романа мечтают за самогонкой и говорят о том, что «хороша стала теперь у нас самогонка», что «за такой самогонкой хорошо посидеть и прошлое вспомнить и добрым словом его помянуть!».

Мечты героев «Сахарного немца» о блаженной стране иногда напоминают нам старого литературного знакомого—Розанова. Вот каков этот «разголубой» край:

«Царя у них нет, царицы и век не бывало, пастух там выше министра, церкви там строят лишь для того, чтоб в них запирали молодых на первую ночь, оттого приплод здоровей и красивей»...

Если прибавить сюда, что в счастливой стране вместо налогов берут в казну раз в год «по бабе или девке»... «для чего, неизвестно».... то идеал зауряд-прапорщика будет ясен.

Симпатии автора к своим героям и их мечтаньям несомненны, он отделим от них, в том его сила и слабость. Образы и метафоры изобилуют бутафорией церковного обихода, описания колокольного звона—самые чувствительные и обстоятельные места романа. Даже трагических половых художник мыслит в виде... ангелов: «как ангелы божьи, носятся вихрем»... Рассуждения о науке дополняют черты определенного мировоззрения: «*мудр человек, когда спит*»; к сожалению, человек потерял память о снах, «променяв на науку и опыт», причем, оказывается, из «барской севоты» родилась наука, скука ума, камень над гробом невзрачной души: плавает в этой науке человеческий разум, как слепой котенок в ведре».

В самом деле! А мы-то думали!...

К счастью, не все еще потеряно: «придет в свой час старый ховяин, начнет разматывать духовную пустошь, увидит ведрок, и вот тогда-то котенок и полетит на луну!»

Пророчества также, как и *мечты* действующих в романе героев, отображают темноту и причудливую

формы сознания бредущих ошупью социальных слоев, скованные устоями отсталого хозяйства и предрассудками прошлого. В этом ценность эпопеи, она интересно, художественно подает современному читателю далекий от него мир образов и мыслей, в котором живут еще некоторые пласты крестьянства. Знание быта, мужицкой, солдатской психологии, цветистый живой язык, глубокие по содержанию сказки, впечатляющиеся в повествование, делают роман незаурядным произведением.

При чтении романа вспоминаются Гоголь и Андрей Белый, тени классиков вызывают к редакторскому карандашу, безмолвно говорят, о необходимости сгущения текста.

*Г. Якубовский.*

**В. Александровский. Ветер.**  
Стихи и поэмы. ГИЗ. 1925 г.  
Стр. 76.

Сборник «Ветер» составлен из поэмы и стихов, написанных в период с 1919 по 1923 год (книжки—«Утро», «Россыпь огней», «Звон солнца»). Для нового сборника поэт выбрал наиболее сильные по теме и крепкие формально вещи, и в результате сборник дает исчерпывающее представление об его творчестве.

Стихи Александровского всегда только лирика, лирика искренняя, останавливающая на себе читательское внимание. «Мы всегда чем-нибудь горим»—вот формула его восприятия жизни. Даже и в эпическом жанре—в поэме—поэт остается лириком и обыкновенно вклинивает себя действующим лицом в ее сюжет. Так, в «Поэме о Пахоме» повествование о пастухе ведется параллельно со сказом о подпаске, будущем поэте, Ваське, и параллель эта обусловлена лирической композицией вещи, а не тем, что кони—земляки из Смоленской губернии».

Конечно, эпос и лирика—жанры в поэзии равноценные. Но самый выбор лирических тем требует от пролетарского поэта аптекарски точного взвешивания своего слова, иначе оно легко может превратиться в чуждые классу излияния.

Лирика Александровского характеризуется резкой индивидуальностью. Отсюда ее идеологиче-

ская неуравновешенность: рядом с заявлениями:

Я—дерзок и упрям,  
Я—всеобъемлющий, чье имя Пролетарий,—

такие построения и ощущения, как: Плутуют дни, измученные грузом,  
Накатываются ночи тяжело...

или:

По безумью направлю свой бриг.  
Оглушу свою душу о палубу,—

пролетариат, как класс действия, та; жизнь, конечно, не воспринимает.

Формальный анализ сборника «Ветер» подтверждает, что, пережив и переживая ряд поэтических влияний (например, темы Блока в стихотворении «Две России», ритм Есенина «Синь»,—«Поэма о Пахоме»), Александровский нащупал в стихе самого себя. Из приемов поэзии он успешно овладел самым значительным ее приемом—композицией. Четкой лирической темой связывает Александровский иногда заимствованные ритмы, рифмы, не всегда оригинальные образы (Александровский: «только синь, только синь в памяти», Есенин: «Синий свет. Свет такой синий. В эту синь даже умереть не жаль»), и стихотворение делается прочно сплоченным организмом. Если же четкость темы соединяется с классовостью ее, то получается сильное, заражающее читателя, стихотворение; напр., стих. «Молодежи».

Темы стихотворений Александровского крайне разнообразны. «К огненному кипенью революций» он умеет подойти и от праздничной встречи на Воробьевых горах (стих. «Воробьевы горы»), и от усталого путника (стих. «Путник»), и от разгрузки вагона (стих. «При разгрузке»). Поэтом, становится просто обидно за поэта, когда он вместо сильной рабочей лирики часто предлагает читателю стихи об обреченном человеке.

*В. Красильников.*

**Поэты наших дней. Антология.**  
Всероссийский Союз Поэтов. Москва, 1924, стр. 107. Цена не указана.

Эта книжка производит странное впечатление. Прежде всего, ни одним словом никто не обмолвился, с



какими целями, кто и как ее составлял. Если анонимный редактор хотел дать представление о каждом из значительных поэтов наших дней, то, несмотря на заманчивость этой идеи, нельзя не усомниться в самой ее осуществимости, т. к. едва ли можно из каждого поэта выбрать *одно* такое стихотворение, которое было бы для него наиболее типично. Во всяком случае, тогда выбор должен был быть особо строг и тщателен. В сборнике же даны, напр., такие стихи для Есенина, В. Инбер, Н. Клюева, В. Казина, которые представляются для них как раз не типичными. Кириллов и Герасимов представлены стихотворениями, которые менее всего характеризуют их, как пролетарских поэтов, и т. д. и т. д. Затем, почему же тогда среди «поэтов наших дней» отсутствуют такие имена, как Демьян Бедный, Безыменский, Доронин, Малашкин и др., во всяком случае, более значительные и талантливые, чем многие, чьи стихотворения введены в «Антологию»?

Долг издателя — уведомить читателя о методе составления, чтобы не вводить никого в заблуждение. Впрочем, составители о читателе, видно, не особенно заботились, если позволили себе, между прочим, преподнести такое явное издательство над здравым смыслом, над наборщиками, над бумагой, не говоря уже о читателях, как стихотворение некоего Алексея Чичерина, которое состоит сплошь из таких шедевров: «Дылдооня ылде да! л лад, а патом-бэ и пеур.

Дылда был тел, пыпатель, пыпатель, ды и падыдел пуд дел».

Называется это стихотворение, изволите ли видеть, — «Вводниа». В таком же духе и второе стихотворение того же примечательного автора под заглавием «Кинцывая».

Кому нужна эта, с позволения сказать, «Антология»? Жаль даром затраченного труда и бумаги (хорошо, что тираж-то только 1000 экз.!). Книжка ничего не вызывает, кроме негодования за бесцеремонное обращение с читателем.

Проф. Н. Фатос.

**Франц Верфель. Верди. Роман оперы.** Перевод с немецкого под

ред. А. Г. Горьфельда. Книг-ство «Сейтель». Ленинград. 1925, стр. 315.

Интерес к книге обеспечивается уже именем ее автора — видного современного немецкого писателя-экспрессиониста, с лирическими и драматическими произведениями которого русский читатель уже знаком по многим переводам.

Сюжетом романа является жизнь знаменитого итальянского оперного композитора Верди, соперника Рихарда Вагнера. Действие происходит в конце 1882 и в начале 1883 г., перед самой смертью Вагнера, в Венеции, куда автор заставляет приехать инкогнито и Верди, уединенно работающего над оперой «Король Лир» в последней надежде на победу и затем в отчаянии сжигающего свой труд. В целом ряде сцен, в которых Верди предается размышлениям и воспоминаниям, дана его прошлая жизнь. Развитие основного сюжета заострено введением постоянно преследующего Верди желания встретиться с Вагнером. На протяжении нескольких недель случай сталкивает их несколько раз, но настоящая встреча так и не может состояться. Когда же Верди принимает, наконец, определенное решение, он узнает, что Вагнер четверть часа назад внезапно скончался.

На фоне этого основного сюжета разворачивается целая сеть побочных. Перед читателем проходят очень ярко обрисованные герои отдельных сюжетных гнезд: 104-летний маркиз Гритти, живущий ненавистью к якобинцам и носящий костюмы времен Директории, неудачник-композитор, мнящий себя всемирным гением, немец-Филшек и его жена, старый сценарист — живое воплощение идей 48-го года, тяжело переживающий мещанский упадок освободительного движения и находящий утешение в занятиях классической филологией, его сын Итало, заставляющий вспомнить о «чичисбеях» эпохи расцвета Венеции, молодая певица Маргарита Децорци, превратившая свою жизнь в продолжение сцены, суровый, замкнутый врач Карваньо, и целый ряд других. Каждое такое гнездо могло бы быть обработано отдельно в прекрасную новеллу, но тем не менее автор мастерски связывает их в единое композиционное

целое на общем фоне угасания замечательного города, подпавшего под нивелирующее действие общеевропейской цивилизации. Большой интерес представляет изображение попытки венецианских мепенатов возродить в 1883 году старые традиции карнавала.

Роман можно назвать без колебания подлинно-художественным произведением, но кроме отдельных разбросанных афоризмов и сентенций и порою попадающихся кратких выразительных описаний, он мало связывается с уже знакомым обликом Верфеля, автора хотя бы магической трилогии «Человек зеркала».

Перевод в общем вполне удовлетворителен, но местами грешит все-таки тем, что можно назвать «переводческим жаргоном».

*Б. Горнунг.*

**А. Машкин. Пути марксистской литературной критики.** Гос. Изд. Украины. 1925 г., стр. 48.

В этом случайном беглом торопливом очерке попадают верные мысли; к сожалению, они теряются в цветистой шелухе сугубо канцелярского стиля. Книжность и провинциализм стиля соответствуют бесформенности очерка, в результате дающего слабое представление о путях марксистской критики. Читатель, не искушенный в «путях», едва ли разберется в тяжеловесной словесности автора, а осведомленный—ничего нового не почерпнет.

А ведь автор как будто ставил своей целью дать азбуку марксистской литературной критики, как он об этом «склонен думать» в заключительных словах брошюры. Существенные недостатки брошюры и проистекают оттого, что составитель ее не осознал четко цели своей работы и не сумел найти ясную форму изложения. Вместо того, чтобы угрожать читателю на 10 стр., что далее последуют «длинные цитаты» из статей Плеханова, а на 30 стр. обещать угощение «одним лишь экстрактом из статей Георгия Валентиновича», проще было разбить очерк на главы, с отдельными подзаголовками,—это упорядочило бы цитаты и пересказ плехановской эстетики.

В настоящем же виде от беспорядочности и недочетов изложения существенно страдает «названная» эстетика, «названный» автор, «названное» методологическое течение, как с утомительным однообразным повторением выражается составитель брошюры. Грехи стиля, быть может, против воли автора, заводят его в дебри таких, напр., Америк. «Маркс был не только теоретиком академического свойства, но и... и т. п.; «могучие горделивые созвучия» Пушкинской лирики, оказывается, выражают чаяния «определенной дворянской пауперизирующей группы» (1). Упомянув имена критиков: Андреевича, А. В. Луначарского, Л. Д. Троцкого, Фриче, отметил значение общественной психологии в классовой борьбе, автор приводит читателя в отчаяние следующей тарбарщиной: «эту психологию, равно как идеологию, имеющуюся налицо в соответствующий период развития производительных сил, указанная плеяда, естественно, рассматривала, как продукт общественно-экономических взаимоотношений, имеющий место в данной области в данную эпоху, в результате чего пришлось (1) говорить о классовой психологии, о классовой идеологии». Мраком глубокой таинственности покрыта также следующая формула: «социальное окружение сообщает молекулярным путем своему поэтическому сочлену свои переживания, в том числе, конечно, и политические» (стр. 42).

Брошюра, несомненно, нуждается в коренной переработке, в расчлениении вопросов критики от проблем эстетики, в конкретных иллюстрациях, вместо случайных ссылок на Блока, Есенина и Казина, а также в дополнениях о путях марксистской критики, о чем в очерке—ни слова.

*Г. Якубовский.*

**Литературная энциклопедия. Словарь литературных терминов.** В двух томах. Изд. Френкель. М.—Л., 1925 г., стр. 1198. Ц. 7 р.

Как это ни странно, наши литераторы оказались не в состоянии дать простые, сжатые и точные определения литературных терминов. Во многих случаях состави-

тели словаря, не давая их определения, которое бы следовало поставить во главу угла, пускаются в длиннейшие объяснения литературных фактов, относящихся к тому или иному термину, по которым пользующийся словарем сам уже должен составить себе то или иное понятие или определение.

Энциклопедии Брокгауза и Граната построены так: сначала дается определение какого-либо слова, а затем его объяснение путем приведения соответствующего фактического материала. В Литературной же Энциклопедии во многих случаях определения вовсе отсутствуют и, вообще, она совершенно неправильно рассчитана на человека, знающего литературу.

Это первый недостаток, за которым следует ряд других, не менее существенных. К ним относится, например, объяснение одного термина другим—производным от первого же.

Так, С. Бобров, в полном сознании своей широчайшей эрудиции, пишет:

*«Силлабической системой является такая, где нет иных правил, кроме изосиллабизма ритмических секций (персидский стих)»* (стр. 442).

Здесь все окончательно уже запутано и вместо одного неизвестного мы имеем новых три (изосиллабизм, ритмическая секция, персидский стих). И наивный, заглянувши в словарь и прочтя эти сногшибательные строки, немедленно же зашвырнет его подальше.

Существенный недостаток энциклопедии еще и тот, что в нее не вошли многие литературные термины: например, имеется раз'яснение «растяжения», а о противоположном ему «стяжении» (в стихах) не сказано ни звука. Дальше: термину «порнография» посвящен целый столбец, а о «монографии» не найдешь ни строчки.

Теперь о самих участниках словаря. В списке сотрудников, на второй странице, их очень много. В действительности же в составлении его участвовала лишь половина их, и притом не лучшая—какие-то неведомые миру Дынники и Богоявленские, а истинные знатоки того или иного предмета в большинстве случаев дали или очень мало, или совсем ничего.

Так, помеченные в списке сотрудников проф. А. А. Грушко и проф. Б. А. Грифцов не дали ничего, между тем, первый из них—лучший знаток Греции и Рима, второй—романа. Соответствующие статьи за них написаны все теми же Дынниками, и так можно перечислить многих. С грустью мы обнаружили, что в словаре не приняли участия и профессора С. К. Шамбинаго и Д. Н. Ушаков. Марксисты представлены слабо. Наиболее интересные из них не дали ничего. Нет и «лефов».

Если перелистать оба тома, то все время на глаза будет попадаться подпись под статьями и заметками: «Дынник. Дынник. Дынник»... и, в конце концов, так и думаешь, что именно она одна и составляла эту Энциклопедию. Быть может, эта самая Дынник несколько и разбирается в трактуемых ею предметах, но зачем же именно ей писать о них, когда есть лучшие специалисты?

Совершенно неприятен Зунделович, трогательно переписывающий Брюсовскую «науку о стихе». Правда, он делает ссылки на Брюсова и, может быть, поступает так из искреннего к нему почтения, но положения это не улучшает.

Рукавишников, в качестве примеров по строфике, приводит свои стихи. Я не буду спорить: м. б., ему и известен этот отдел стиховедения, но стихи он пишет плохие, действующие отвращающе от приводимых им форм.

Бобров окончательно сломал свой язык и пишет уже почти не по-русски и неизменно старается завинтить что-нибудь необыкновенное, вроде приведенной выше цитаты. И весь он как-то иссох на своей терминологии, разгуливая на схоластических ходулях. Но в общем выходит весело.

У Благого чудесный высокий стиль: так, он говорит о рыцарских романах, «примагничивающих к себе тысячи сочувственных читателей», и о представителях нового класса, бьющих феодальный быт «по пяткам палочными ударами сатиры» (стр. 5).

Впрочем, и сам академик М. Розанов прихрамывает на эту ногу. Он сочинил такую фразу:

*«...Мицкевич... отдал обильную дань увлечения тем, кого его рус-*

ский друг Пушкина называли, властителем дум» (стр. 87).

Согласитесь, что «кого его» напоминает знаменитую побасенку об «Егоре».

Но это мелочи. В итоге же все написанное М. Н. Розановым для Энциклопедии безусловно имеет вес. То же можно сказать о М. А. Петровском, А. М. Пешковском и другом Розанове, И. Н.

Существеннейший недостаток Энциклопедии тот, что большинство вопросов освещено не лучшими нашими специалистами, и это тем более странно, что они у нас есть.

Почему-то осталась в стороне и группа ленинградцев: Замятин, Чуковский, Эйхенбаум, Тынянов, Томашевский и Шкловский, которые могли бы быть весьма полезны.

Во всем этом, конечно, вина редакции Энциклопедии, не сумевшей подобрать нужных сотрудников и не потрудившейся просмотреть, как следует, поданный материал, благодаря чему сей двухтомный труд в тысячу с лишним страниц становится почти ненужным.

*Б. Аннибал.*

**Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. 1846—1862.** Издание М. и С. Сабашниковых. Москва. 1925. 173 стр.

Наташа Ростова сошла со страниц «Войны и мира» и написала воспоминания. Этот неуязвимый образ девушки навеян писателю Татьяной Андреевной Кузминской, рожденной Берс (р. 29-го октября 1846 г.)—сестрой Софьи Андреевны, жены Льва Николаевича Толстого.

Почтенный автор Т. А. Кузминская продолжает и поныне работать над воспоминаниями, ценность которых в том, что теперь уже нет никого, кто помнит молодость Толстого, и записки эти, таким образом, являются последним свидетельством современника.

В первой опубликованной части воспоминаний автор в художественно-повествовательной форме, обычно чуждой мемуаристам, рассказывает о семье и быте, которые нашли

потом свое отражение в «Войне и Мире», и о молодых годах великого писателя. В этом—историко-литературная ценность записок. Автор, по старой дворянской традиции, начинает с рассказа о родословной своих предков, осыпанных «монаршими милостями». Эти главы наименее интересны и содержат ошибки (рассказывая о Заводовском, автор упоминает имя Листовского, который в третьей книге «Русского Архива» за 1883 г. поместил записки, признанные потом пристрастными, благодаря чему автором Заводовский назван временщиком Екатерины II, в то время, как при двухлетнем пребывании при дворе, он большой роли не играл. (Прим. С. Б.), требующие критической проверки воспоминаний. Ценность книги—в главах, где мы встречаем Толстого у Берс. В этом доме в него влюбилась Елизавета Андреевна, но Толстой спутал карты семейных предположений... С глубоким интересом читаются записки о проявлении первых чувств писателя, так ярко рассказанных затем в «Анне Карениной», и письмо Толстого к Софье Андреевне, будущей жене, где в сдержанных выражениях мольба и могучее чувство писателя к бледной, немного сантиментальной, дочери лекаря. В этих записках мы видим уже проявление тех черт в характере Софьи Андреевны, которые впоследствии создали ей сонм врагов и за которые она была даже названа некоторыми биографами «злым гением» Толстого.

Размеры рецензии не позволяют приводить цитаты и останавливаться на отдельных главах, но необходимо сказать, что эта книга имеет также и историко-общественный интерес, как яркое свидетельство дворянского быта эпохи, которая даже сквозь эгегическую дымку воспоминаний бросает свою мрачную тень.

Издана книга хорошо, снабжена весьма кратким предисловием и примечаниями М. А. Цявловского генеалогического характера.

*С. Борисов.*

**Редакторы** { *А. В. Луначарский.*  
*Ю. Стеклов.*

Издатель: „Издательство Известий ЦИК СССР и ВЦИК“.